

# Леонид Андреев



# Иуда Искариот



*«Иуда Искариот (повесть)» — произведение представителя Серебряного века русской литературы, родоначальника русского экспрессионизма Л. Н. Андреева (1871–1919). \*\*\**

*Замысел этого сочинения (1907) автор вынашивал давно. Иуда у него стремится не вниз, а вверх, вслед за Христом. При этом ненавидит и презирает людей. Не просто хочет быть первым после Христа, чтобы упиваться горем своего предательства, а встать рядом с Ним, положив ему под ноги недостойный мир. Образ Иуды — это одновременно циничный, самовлюбленный интриган и гордый, смелый борец с человеческой глупостью. Предатель лучшего из людей и единственный среди всех учеников искренне и самоотверженно Его любящий.*

*Перу Андреева принадлежат и такие произведения: «Сашка Жегулев», «Иго войны», «Дневник Сатаны», «Баргамот и Гераська», «Из жизни штабс-капитана Каблукова».*

# Леонид Андреев

## Иуда Искариот

### I

Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда из Кариота — человек очень дурной славы и его нужно остерегаться. Одни из учеников, бывавшие в Иудее, хорошо знали его сами, другие много слышали о нем от людей, и не было никого, кто мог бы сказать о нем доброе слово. И если порицали его добрые, говоря, что Иуда корыстолюбив, коварен, наклонён к притворству и лжи, то и дурные, которых расспрашивали об Иуде, поносили его самыми жестокими словами. «Он ссорит нас постоянно, — говорили они, отплёвываясь, — он думает что-то своё и в дом влезает тихо, как скорпион, а выходит из него с шумом. И у воров есть друзья, и у грабителей есть товарищи, и у лжецов есть жены, которым говорят они правду, а Иуда смеётся над ворами, как и над честными, хотя сам крадёт искусно, и видом своим безобразнее всех жителей в Иудее. Нет, не наш он, этот рыжий Иуда из Кариота», — говорили дурные, удивляя этим людей добрых, для которых не было большой разницы между ним и всеми остальными порочными людьми Иудеи.

Рассказывали далее, что свою жену Иуда бросил давно, и живёт она несчастная и голодная, безуспешно стараясь из тех трех камней, что составляют поместье Иуды, выжать хлеб себе на пропитание. Сам же он много лет шатается бессмысленно в народе и доходил даже до одного моря и до другого моря, которое ещё дальше, и всюду он лжёт, кривляется, зорко высматривает что-то своим воровским глазом, и вдруг уходит внезапно, оставляя по себе неприятности и ссору — любопытный, лукавый и злой, как одноглазый бес. Детей у него не было, и это ещё раз говорило, что Иуда — дурной человек и не хочет бог потомства от Иуды.

Никто из учеников не заметил, когда впервые оказался около Христа этот рыжий и безобразный иудей, но уж давно неотступно шёл он по ихнему пути, вмешивался в разговоры, оказывал маленькие услуги, кланялся, улыбался и заискивал. И то совсем привычен он становился, обманывая утомлённое зрение, то вдруг бросался в глаза и в уши, раздражая их, как нечто невиданно-безобразное, лживое и омерзительное. Тогда суровыми словами отгоняли его, и на короткое время он пропадал где-то у дороги, — а потом снова незаметно появлялся, услужливый, льстивый и хитрый, как одноглазый бес. И не было сомнения для некоторых из учеников, что в желании его приблизиться к Иисусу скрывалось какое-то тайное намерение, был злой и коварный расчёт.

Но не послушал их советов Иисус, не коснулся его слуха их пророческий голос. С тем духом светлого противоречия, который неудержимо влёл его к отверженным и нелюбимым, он решительно принял Иуду и включил его в круг избранных. Ученики волновались и сдержанно роптали, а он тихо сидел, лицом к заходящему солнцу, и слушал задумчиво, может быть, их, а может быть, и что-нибудь другое. Уж десять дней не было ветра, и все тот же оставался, не двигаясь и не меняясь, прозрачный воздух, внимательный и чуткий. И казалось, будто бы сохранил он в своей прозрачной глубине все то, что кричалось и пелось в эти дни людьми, животными и птицами, — слезы, плач и весёлую песню, молитву и проклятия, и от этих стеклянных, застывших голосов был он такой тяжёлый, тревожный, густо насыщенный незримой жизнью. И ещё раз заходило солнце. Тяжело пламенеющим шаром скатывалось оно книзу, зажигая небо, и все на земле, что было обращено к нему: смуглое лицо Иисуса, стены домов и листья деревьев, — все покорно отражало тот далёкий и страшно задумчивый свет. Белая стена уже не была белой теперь, и не остался белым красный город на красной горе.

И вот пришёл Иуда.

Пришёл он, низко кланяясь, выгибая спину, осторожно и пугливо вытягивая вперёд свою безобразную бугроватую голову — как раз такой, каким представляли его знающие. Он был худощав, хорошего роста, почти такого же, как Иисус, который слегка сутулился от привычки думать при ходьбе и от этого казался ниже, и достаточно крепок силою был он, по-видимому, но зачем-то притворялся хилым и болезненным и голос имел переменчивый: то мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины, ругающей мужа, досадно-жидкий и неприятный для слуха, и часто слова Иуды хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые, шероховатые занозы. Короткие рыжие волосы не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа: точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он явственно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу: за таким черепом не может быть тишины и согласия, за таким черепом всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв. Двоилось так же и лицо Иуды: одна сторона его, с чёрным, остро высматривающим глазом, была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая, плоская и застывшая, и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромною от широко открытого слепого глаза. Покрытый белесой мутью, не смыкающийся ни ночью, ни днём, он одинаково встречал и свет и тьму, но оттого ли, что рядом с ним был живой и хитрый товарищ, не верилось в его полную слепоту. Когда в припадке робости или волнения Иуда закрывал свой живой глаз и качал головой, этот качался вместе с

движениями головы и молчаливо смотрел. Даже люди, совсем лишённые проницательности, ясно понимали, глядя на Искарюта, что такой человек не может принести добра, а Иисус приблизил его и даже рядом с собою — рядом с собою посадил Иуду.

Брезгливо отодвинулся Иоанн, любимый ученик, и все остальные, любя учителя своего, неодобрительно потупились. А Иуда сел — и, двигая головою направо и налево, тоненьким голоском стал жаловаться на болезни, на то, что у него болит грудь по ночам, что, всходя на горы, он задыхается, а стоя у края пропасти, испытывает головокружение и едва удерживается от глупого желания броситься вниз. И многое другое безбожно выдумывал он, как будто не понимая, что болезни приходят к человеку не случайно, а рождаются от несоответствия поступков его с заветами предвечного. Потирал грудь широкою ладонью и даже кашлял притворно этот Иуда из Кариота при общем молчании и потупленных взорах.

Иоанн, не глядя на учителя, тихо спросил Петра Симонова, своего друга:

— Тебе не наскучила эта ложь? Я не могу дольше выносить её и уйду отсюда.

Пётр взглянул на Иисуса, встретил его взор и быстро встал.

— Подожди! — сказал он другу. Ещё раз взглянул на Иисуса, быстро, как камень, оторванный от горы, двинулся к Иуде Искарюту и громко сказал ему с широкой и ясной приветливостью:

— Вот и ты с нами, Иуда.

Ласково похлопал его рукою по согнутой спине и, не глядя на учителя, но чувствуя на себе взор его, решительно добавил своим громким голосом, вытеснявшим всякие возражения, как вода вытесняет воздух:

— Это ничего, что у тебя такое скверное лицо: в наши сети попадают ещё и не такие уродины, а при еде-то они и есть самые вкусные. И не нам, рыбалям господу нашего, выбрасывать улов только потому, что рыба колюча и одноглаза. Я видел однажды в Тире осьминога, пойманного тамошними рыбаками, и так испугался, что хотел бежать. А они посмеялись надо мною, рыбаком из Тивериады, и дали мне поесть его, и я попросил ещё, потому что было очень вкусно. Помнишь, учитель, я рассказывал тебе об этом, и ты тоже смеялся. А ты, Иуда, похож на осьминога — только одною половиною.

И громко захохотал, довольный своею шуткой. Когда Пётр что-нибудь говорил, слова его звучали так твёрдо, как будто он прибавал их гвоздями. Когда Пётр двигался или что-нибудь делал, он производил далеко слышный шум и вызывал ответ у самых глухих вещей: каменный пол гудел под его ногами, двери дрожали и хлопали, и самый воздух пугливо вздрагивал и шумел. В ущельях гор его голос будил сердитое эхо, а по утрам на озере, когда ловили рыбу, он кругло перекатывался по сонной и блестящей воде и заставлял улыбаться первые робкие солнечные лучи. И, вероятно, они любили за это Петра: на всех других лицах ещё лежала ночная тень, а его крупная голова, и широкая обнажённая грудь, и свободно закинутые руки уже горели в зареве восхода.

Слова Петра, видимо одобренные учителем, рассеяли тягостное состояние собравшихся. Но некоторых, также бывавших у моря и видевших осьминога, смутил его чудовищный образ, приуроченный Петром столь легкомысленно к новому ученику. Им вспомнились: огромные глаза, десятки жадных щупальцев, притворное спокойствие, — и раз! — обнял, облил, раздавил и высосал, ни разу не моргнувши огромными глазами. Что это? Но Иисус молчит, Иисус улыбается и исподлобья с дружеской насмешкой смотрит на Петра, продолжающего горячо рассказывать об осьминоге, — и один за другим подходили к Иуде смущённые ученики, заговаривали ласково, но отходили быстро и неловко.

И только Иоанн Зеведеев упорно молчал да Фома, видимо, не решался ничего сказать, обдумывая происшедшее. Он внимательно разглядывал Христа и Иуду, сидевших рядом, и эта странная близость божественной красоты и чудовищного безобразия, человека с кротким взором и осьминога с огромными, неподвижными, тускло-жадными глазами угнетала его ум, как неразрешимая загадка. Он напряжённо морщил прямой, гладкий лоб, щурил глаза, думая, что так будет видеть лучше, но добивался только того, что у Иуды как будто и вправду появлялись восемь беспокойно шевелящихся ног. Но это было неверно. Фома понимал это и снова упорно смотрел.

А Иуда понемногу осмеливался: расправил руки, согнутые в локтях, ослабил мышцы, державшие его челюсти в напряжении, и осторожно начал выставлять на свет свою бугроватую голову. Она и раньше была у всех на виду, но Иуде казалось, что она глубоко и непроницаемо скрыта от глаз какой-то невидимой, но густою и хитрою пеленою. И вот теперь, точно вылезая из ямы, он чувствовал на свету свой странный череп, потом глаза — остановился — решительно открыл все своё лицо. Ничего не произошло. Пётр ушёл куда-то, Иисус сидел задумчиво, опершись головою на руку, и тихо покачивал загорелой ногою, ученики разговаривали между собой, и только Фома внимательно и серьёзно рассматривал его как добросовестный портной, снимающий мерку. Иуда улыбнулся — Фома не ответил на улыбку, но, видимо, принял её в расчёт, как и все остальное, и продолжал разглядывать. Но что-то неприятное тревожило левую сторону Иудина лица, — оглянулся: на него из тёмного угла холодными и красивыми очами смотрит Иоанн, красивый, чистый, не имеющий ни одного пятна на снежно-белой совести. И, идя, как и все ходят, но чувствуя так, будто он волочится по земле, подобно наказанной собаке. Иуда приблизился к нему и сказал:

— Почему ты молчишь, Иоанн? Твои слова как золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах, подари одно из них Иуде, который так беден.

Иоанн пристально смотрел в неподвижный, широко открытый глаз и молчал. И видел, как отполз Иуда, помедлил нерешительно и скрылся в тёмной глубине открытой двери.

Так как встала полная луна, то многие пошли гулять. Иисус также пошёл гулять, и с невысокой кровли, где устроил своё ложе Иуда, он видел уходивших. В лунном свете каждая белая фигура казалась лёгкою и неторопливою и не шла, а точно скользила впереди своей чёрной тени, и вдруг человек пропадал в чем-то чёрном, и тогда слышался его голос. Когда же люди вновь появлялись под луной, они казались молчащими — как белые стены, как чёрные тени, как вся прозрачно-мглистая ночь. Уже почти все спали, когда Иуда услышал тихий голос возвратившегося Христа. И все стихло в доме и вокруг него. Пропел петух, обиженно и громко, как днём, закричал где-то проснувшийся осел и неохотно, с перерывами умолк. А Иуда все не спал и слушал, притаившись. Луна осветила половину его лица и, как в замёрзшем озере, отразилась странно в огромном открытом глазу.

Вдруг он что-то вспомнил и поспешно закашлял, потирая ладонью волосатую, здоровую грудь: быть может, кто-нибудь ещё не спит и слушает, что думает Иуда.

## II

Постепенно к Иуде привыкли и перестали замечать его безобразие. Иисус поручил ему денежный ящик, и вместе с этим на него легли все хозяйственные заботы: он покупал необходимую пищу и одежду, раздавал милостыню, а во время странствований приискивал место для остановки и ночлега. Все это он делал очень искусно, так что в скором времени заслужил расположение некоторых учеников, видевших его старания. Лгал Иуда постоянно, но и к этому привыкли, так как не видели за ложью дурных поступков, а разговору Иуды и его рассказам она придавала особенный интерес и делала жизнь похожею на смешную, а иногда и страшную сказку.

По рассказам Иуды выходило так, будто он знает всех людей, и каждый человек, которого он знает, совершил в своей жизни какой-нибудь дурной поступок или даже преступление. Хорошими же людьми, по его мнению, называются те, которые умеют скрывать свои дела и мысли, но если такого человека обнять, приласкать и выспросить хорошенько, то из него потечёт, как гной из проколотой раны, всякая неправда, мерзость и ложь. Он охотно сознавался, что иногда лжёт и сам, но уверял с клятвою, что другие лгут ещё больше, и если есть в мире кто-нибудь обманутый, так это он. Иуда. Случалось, что некоторые люди по многу раз обманывали его и так и этак. Так, некий хранитель сокровищ у богатого вельможи сознался ему однажды, что уж десять лет непрестанно хочет украсть вверенное ему имущество, но не может, так как боится вельможи и своей совести. И Иуда поверил ему, — а он вдруг украл и обманул Иуду. Но и тут Иуда ему поверил, — а он вдруг вернул украденное вельможе и опять обманул Иуду. И все обманывают его, даже животные: когда он ласкает собаку, она кусает его за пальцы, а когда он бьёт её палкой — она лижет ему ноги и смотрит в глаза, как дочь. Он убил эту собаку, глубоко зарыл её и даже заложил большим камнем, но кто знает? Может быть, оттого, что он её убил, она стала ещё более живою и теперь не лежит в яме, а весело бегаёт с другими собаками.

Все весело смеялись на рассказ Иуды, и сам он приятно улыбался, щуря свой живой и насмешливый глаз, и тут же, с тою же улыбкой сознавался, что немного солгал: собаки этой он не убивал. Но он найдёт её непременно и непременно убьёт, потому что не желает быть обманутым. И от этих слов Иуды смеялись ещё больше.

Но иногда в своих рассказах он переходил границы вероятного и правдоподобного и приписывал людям такие наклонности, каких не имеет даже животное, обвинял в таких преступлениях, каких не было и никогда не бывает. И так как он называл при этом имена самых почтённых людей, то некоторые возмущались клеветою, другие же шутливо спрашивали:

— Ну, а твои отец и мать. Иуда, не были ли они хорошие люди?

Иуда прищуривал глаз, улыбался и разводил руками. И вместе с покачиванием головы качался его застывший, широко открытый глаз и молчаливо смотрел.

— А кто был мой отец? Может быть, тот человек, который бил меня розгой, а может быть, и дьявол, и козёл, и петух. Разве может Иуда знать всех, с кем делила ложе его мать? У Иуды много отцов, про которого вы говорите?

Но тут возмущались все, так как сильно почитали родителей, и Матфей, весьма начитанный в Писании, строго говорил словами Соломона:

— Кто злословит отца своего и мать свою, того светильник погаснет среди глубокой тьмы.

Иоанн же Зеведеев надменно бросал:

— Ну, а мы? Что о нас дурного скажешь ты, Иуда из Кариота?

Но тот с притворным испугом замахал руками, сгорбился и заныл, как нищий, тщетно выпрашивающий подаяния у прохожего:

— Ах, искушают бедного Иуду! Смеются над Иудой, обмануть хотят бедного, доверчивого Иуду!

И пока в шутовских гримасах корчилась одна сторона его лица, другая качалась серьёзно и строго, и широко смотрел никогда не смыкающийся глаз. Больше всех и громче всех хохотал над шутками Искарриота Пётр Симонов. Но однажды случилось так, что он вдруг нахмурился, сделался молчалив и печален и поспешно отвёл Иуду в сторону, таща его за рукав.

— А Иисус? Что ты думаешь об Иисусе? — наклонившись, спросил он громким шёпотом. — Только не шути, прошу тебя.

Иуда злобно взглянул на него:

— А ты что думаешь?

Пётр испуганно и радостно прошептал:

— Я думаю, что он — сын бога живого.

— Зачем же ты спрашиваешь? Что может тебе сказать Иуда, у которого отец козёл!

— Но ты его любишь? Ты как будто никого не любишь, Иуда.

С той же странной злобою Искарриот бросил отрывисто и резко:

— Люблю.

После этого разговора Пётр дня два громко называл Иуду своим другом-осьминогом, а тот неповоротливо и все так же злобно старался ускользнуть от него куда-нибудь в тёмный угол и там сидел угрюмо, светлея своим белым несмыкающимся глазом.

Вполне серьёзно слушал Иуду один только Фома: он не понимал шуток, притворства и лжи, игры словами и мыслями и во всем доискивался основательного и положительного. И все рассказы Искарриота о дурных людях и поступках он часто перебивал короткими деловыми замечаниями:

— Это нужно доказать. Ты сам это слышал? А кто ещё был при этом, кроме тебя? Как его зовут?

Иуда раздражался и визгливо кричал, что он все это сам видел и сам слышал, но упрямый Фома продолжал допрашивать неотвязчиво и спокойно, пока Иуда не сознавался, что солгал, или не сочинил новой правдоподобной лжи, над которою тот надолго задумывался. И, найдя ошибку, немедленно приходил и равнодушно уличал лжеца. Вообще Иуда возбуждал в нем сильное любопытство, и это создало между ними что-то вроде дружбы, полной крика, смеха и ругательств — с одной стороны, и спокойных, настойчивых вопросов — с другой. Временами Иуда чувствовал нестерпимое отвращение к своему странному другу и, понижая его острым взглядом, говорил раздражённо, почти с мольбою:

— Но чего ты хочешь? Я все сказал тебе, все.

— Я хочу, чтобы ты доказал, как может быть козёл твоим отцом? — с равнодушной настойчивостью допрашивал Фома и ждал ответа.

Случилось, что после одного из таких вопросов Иуда вдруг замолчал и удивлённо с ног до головы ощупал его глазом: увидел длинный, прямой стан, серое лицо, прямые прозрачно-светлые глаза, две толстые складки, идущие от носа и пропадающие в жёсткой, ровно подстриженной бороде, и убедительно сказал:

— Какой ты глупый, Фома! Ты что видишь во сне:

дерево, стену, осла?

И Фома как-то странно смутился и ничего не возразил. А ночью, когда Иуда уже заволакивал для сна свой живой и беспокойный глаз, он вдруг громко сказал с своего ложа — они оба спали теперь вместе на кровле:

— Ты не прав, Иуда. Я вижу очень дурные сны. Как ты думаешь: за свои сны также должен отвечать человек?

— А разве сны видит кто-нибудь другой, а не он сам? Фома тихо вздохнул и задумался. А Иуда презрительно улыбнулся, плотно закрыл свой воровской глаз и спокойно отдался своим мятежным снам, чудовищным грёзам, безумным видениям, на части раздиравшим его бугроватый череп.

Когда, во время странствований Иисуса по Иудее, путники приближались к какому-нибудь селению, Искарриот рассказывал дурное о жителях его и предвещал беду. Но почти всегда случалось так, что люди, о которых говорил он дурно, с радостью встречали Христа и его друзей, окружали их вниманием и любовью и становились верующими, а денежный ящик Иуды делался так полон, что трудно было его нести. И тогда над его ошибкой смеялись, а он покорно разводил руками и говорил:

— Так! Так! Иуда думал, что они плохие, а они хорошие:

и поверили быстро, и дали денег. Опять, значит, обманули Иуду, бедного, доверчивого Иуду из Кариота!

Но как-то раз, уже далеко отойдя от селения, встретившего их радушно, Фома и Иуда горячо заспорили и, чтобы решить спор, вернулись обратно. Только на другой день догнали они Иисуса с учениками, и Фома имел вид смущённый и грустный, а Иуда глядел так гордо, как будто ожидал, что вот сейчас все начнут его

поздравлять и благодарить. Подойдя к учителю, Фома решительно заявил:

— Иуда прав, господи. Это были злые и глупые люди, и на камень упало семя твоих слов.

И рассказал, что произошло в селении. Уж после ухода из него Иисуса и его учеников одна старая женщина начала кричать, что у неё украли молоденького беленького козлёнка, и обвинила в покраже ушедших. Вначале с нею спорили, а когда она упрямо доказывала, что больше некому было украсть, как Иисусу, то многие поверили и даже хотели пуститься в погоню. И хотя вскоре нашли козлёнка запутавшимся в кустах, но все-таки решили, что Иисус обманщик и, может быть, даже вор.

— Так вот как! — вскричал Пётр, раздувая ноздри. — Господи, хочешь, я вернусь к этим глупцам, и...

Но молчавший все время Иисус сурово взглянул на него, и Пётр замолчал и скрылся сзади, за спинами других. И уже никто больше не заговаривал о происшедшем, как будто ничего не случилось совсем и как будто не прав оказался Иуда. Напрасно со всех сторон показывал он себя, стараясь сделать скромным своё раздвоенное, хищное, с крючковатым носом лицо, — на него не глядели, а если кто и взглядывал, то очень недружелюбно, даже с презрением как будто.

И с этого же дня как-то странно изменилось к нему отношение Иисуса. И прежде почему-то было так, что Иуда никогда не говорил прямо с Иисусом, и тот никогда прямо не обращался к нему, но зато часто взглядывал на него ласковыми глазами, улыбался на некоторые его шутки, и если долго не видел, то спрашивал: а где же Иуда? А теперь глядел на него, точно не видя, хотя по-прежнему, — и даже упорнее, чем прежде, — искал его глазами всякий раз, как начинал говорить к ученикам или к народу, но или садился к нему спиной и через голову бросал слова свои на Иуду, или делал вид, что совсем его не замечает. И что бы он ни говорил, хотя бы сегодня одно, а завтра совсем другое, хотя бы даже то самое, что думает и Иуда, — казалось, однако, что он всегда говорит против Иуды. И для всех он был нежным и прекрасным цветком, благоухающей розой ливанскою, а для Иуды оставлял одни только острые шипы — как будто нет сердца у Иуды, как будто глаз и носа нет у него и не лучше, чем все, понимает он красоту нежных и беспорочных лепестков.

— Фома! Ты любишь жёлтую ливанскую розу, у которой смуглое лицо и глаза, как у серны? — спросил он своего друга однажды, и тот равнодушно ответил:

— Розу? Да, мне приятен её запах. Но я не слыхал, чтобы у роз были смуглые лица и глаза, как у серны.

— Как? Ты не знаешь и того, что у многорукого кактуса, который вчера разорвал твою новую одежду, один только красный цветок и один только глаз?

Но и этого не знал Фома, хотя вчера кактус действительно вцепился в его одежду и разорвал её на жалкие клочки. Он ничего не знал, этот Фома, хотя обо всем расспрашивал, и смотрел так прямо своими прозрачными и ясными глазами, сквозь которые, как сквозь финикийское стекло, было видно стену позади его и привязанного к ней понурого осла.

Произошёл некоторое время спустя и ещё один случай, в котором опять-таки правым оказался Иуда. В одном иудейском селении, которое он настолько не хвалил, что даже советовал обойти его стороною, Христа приняли очень враждебно, а после проповеди его и обличения лицемеров пришли в ярость и хотели побить камнями его и учеников. Врагов было много, и, несомненно, им удалось бы осуществить своё пагубное намерение, если бы не Иуда из Карио-та. Охваченный безумным страхом за Иисуса, точно видя уже капли крови на его белой рубашке. Иуда яростно и слепо бросался на толпу, грозил, кричал, умолял и лгал, и тем дал время и возможность уйти Иисусу и ученикам. Разительно проворный, как будто он бегал на десятке ног, смешной и страшный в своей ярости и мольбах, он бешено метался перед толпою и очаровывал её какой-то странной силой. Он кричал, что вовсе не одержим бесом Назарей, что он просто обманщик, вор, любящий деньги, как и все его ученики, как и сам Иуда, — потрясал денежным ящиком, кривлялся и молил, припадая к земле. И постепенно гнев толпы перешёл в смех и отвращение, и опустили поднятые с камнями руки.

— Недостойны эти люди, чтобы умереть от руки честного, — говорили одни, в то время как другие задумчиво провожали глазами быстро удалявшегося Иуду.

И снова ожидал Иуда поздравлений, похвал и благодарности, и выставлял на вид свою изодранную одежду, и лгал, что били его, — но и на этот раз был он непонятно обманут. Разгневанный Иисус шёл большими шагами и молчал, и даже Иоанн с Петром не осмеливались приблизиться к нему, и все, кому попадался на глаза Иуда в изодранной одежде, с своим счастливо-возбуждённым, но все ещё немного испуганным лицом, отгоняли его от себя короткими и гневными восклицаниями. Как будто не он спас их всех, как будто не он спас их учителя, которого они так любят.

— Ты хочешь видеть глупцов? — сказал он Фоме, задумчиво шедшему сзади. — Посмотри: вот идут они по дороге, кучкой, как стадо баранов, и поднимают пыль. А ты, умный Фома, плетёшься сзади, а я, благородный, прекрасный Иуда, плетусь сзади, как грязный раб, которому не место рядом с господином.

— Почему ты называешь себя прекрасным? — удивился Фома.

— Потому что я красив, — убеждённо ответил Иуда и рассказал, многое прибавляя, как он обманул врагов Иисуса и посмеялся над ними и их глупыми камнями.

— Но ты солгал! — сказал Фома.

— Ну да, солгал, — согласился спокойно Искарriot. — Я им дал то, что они просили, а они вернули то, что мне нужно. И что такое ложь, мой умный Фома? Разве не большею ложью была бы смерть Иисуса?

— Ты поступил нехорошо. Теперь я верю, что отец твой — дьявол. Это он научил тебя, Иуда.

Лицо Искарриота побелело и вдруг как-то быстро надвинулось на Фому — словно белое облако нашло и закрыло дорогу и Иисуса. Мягким движением Иуда так же быстро прижал его к себе, прижал сильно, парализуя движения, и зашептал в ухо:

— Значит, дьявол научил меня? Так, так, Фома. А я спас Иисуса? Значит, дьявол любит Иисуса, значит, дьяволу нужен Иисус и правда? Так, так, Фома. Но ведь мой отец не дьявол, а козёл. Может, и козлу нужен Иисус? Хе? А вам он не нужен, нет? И правда не нужна?

Рассерженный и слегка испуганный Фома с трудом вырвался из липких объятий Иуды и быстро зашагал вперёд, но вскоре замедлил шаги, стараясь понять происшедшее.

А Иуда тихонько плёлся сзади и понемногу отставал. Вот в отдалении смешались в пёструю кучку идущие, и уж нельзя было рассмотреть, которая из этих маленьких фигурок Иисус. Вот и маленький Фома превратился в серую точку

— и внезапно все пропали за поворотом. Оглянувшись, Иуда сошёл с дороги и огромными скачками спустился в глубину каменистого оврага. От быстрого и порывистого бега платье его раздувалось и руки взмывали вверх, как для полёта. Вот на обрыве он поскользнулся и быстро серым комком скатился вниз, обдираясь о камни, вскочил и гневно погрозил горе кулаком:

— Ты ещё, проклятая!..

И, внезапно сменив быстроту движений угрюмой и сосредоточенной медленностью, выбрал место у большого камня и сел неторопливо. Повернулся, точно ища удобного положения, приложил руки, ладонь с ладонью, к серому камню и тяжело прислонился к ним головою. И так час и два сидел он, не шевелясь и обманывая птиц, неподвижный и серый, как сам серый камень. И впереди его, и сзади, и со всех сторон поднимались стены оврага, острой линией обрезаю края синего неба, и всюду, впиваясь в землю, высились огромные серые камни — словно прошёл здесь когда-то каменный дождь и в бесконечной думе застыли его тяжёлые капли. И на опрокинутый, обрубленный череп похож был этот дико-пустынный овраг, и каждый камень в нем был как застывшая мысль, и их было много, и все они думали — тяжело, безгранично, упорно.

Вот дружелюбно проковылял возле Иуды на своих шатких ногах обманутый скорпион. Иуда взглянул на него, не отнимая от камня головы, и снова неподвижно остановились на чем-то его глаза, оба неподвижные, оба покрытые белесою странною мутью, оба точно слепые и страшно зрячие. Вот из земли, из камней, из расселин стала подниматься спокойная ночная тьма, окутала неподвижного Иуду и быстро поползла вверх — к светлому побледневшему небу. Наступила ночь с своими мыслями и снами.

В эту ночь Иуда не вернулся на ночлег, и ученики, оторванные от дум своих хлопотами о пище и питьё, роптали на его нерадивость.

### III

Однажды, около полудня, Иисус и ученики его проходили по каменистой и горной дороге, лишённой тени, и так как уже более пяти часов находились в пути, то начал Иисус жаловаться на усталость. Ученики остановились, и Пётр с другом своим Иоанном разостлали на земле плащи свои и других учеников, сверху же укрепили их между двумя высокими камнями, и таким образом сделали для Иисуса как бы шатёр. И он возлёг в шатре, отдыхая от солнечного зноя, они же развлекали его весёлыми речами и шутками. Но, видя, что и речи утомляют его, сами же будучи мало чувствительны к усталости и жару, удалились на некоторое расстояние и предались различным занятиям. Кто по склону горы между камнями разыскивал съедобные корни и, найдя, приносил Иисусу, кто, взбираясь все выше и выше, искал задумчиво границ голубеющей дали и, не находя, поднимался на новые островерхие камни. Иоанн нашёл между камней красивую, голубенькую ящерицу и в нежных ладонях, тихо смеясь, принёс её Иисусу, и ящерица смотрела своими выпуклыми, загадочными глазами в его глаза, а потом быстро скользнула холодным тельцем по его тёплой руке и быстро унесла куда-то свой нежный, вздрагивающий хвостик.

Пётр же, не любивший тихих удовольствий, а с ним Филипп занялись тем, что отрывали от горы большие камни и пускали их вниз, состязаясь в силе. И, привлечённые их громким смехом, понемногу собрались вокруг них остальные и приняли участие в игре. Напрягаясь, они отдирали от земли старый, обросший камень, поднимали его высоко обеими руками и пускали по склону. Тяжёлый, он ударялся коротко и тупо и на мгновение задумывался, потом нерешительно делал первый скачок — и с каждым прикосновением к земле, беря от неё быстроту и крепость, становился лёгкий, свирепый, всесокрушающий. Уже не прыгал, а летел он с оскаленными зубами, и воздух, свистя, пропускал его тупую, круглую тушу. Вот край, — плавным последним движением камень взмывал кверху и спокойно, в тяжёлой задумчивости,



округло летел вниз, на дно невидимой пропасти.

— Ну-ка, ещё один! — кричал Пётр. Белые зубы его сверкали среди чёрной бороды и усов, мощная грудь и руки обнажились, и старые сердитые камни, тупо удивляясь поднимающей их силе, один за другим покорно уносились в бездну. Даже хрупкий Иоанн бросал небольшие камешки и, тихо улыбаясь, смотрел на их забаву Иисус.

— Что же ты. Иуда? Отчего ты не примешь участия в игре, — это, по-видимому, так весело? — спросил Фома, найдя своего странного друга в неподвижности, за большим серым камнем.

— У меня грудь болит, и меня не звали.

— А разве нужно звать? Ну, так вот я тебя зову, иди. Посмотри, какие камни бросает Пётр.

Иуда как-то боком взглянул на него, и тут Фома впервые смутно почувствовал, что у Иуды из Кариота — два лица. Но не успел он этого понять, как Иуда сказал своим обычным тоном, льстивым и в то же время насмешливым:

— Разве есть кто-нибудь сильнее Петра? Когда он кричит, все ослы в Иерусалиме думают, что пришёл их Мессия, и тоже поднимают крик. Ты слышал когда-нибудь их крик, Фома?

И, приветливо улыбаясь и стыдливо запахивая одеждою грудь, поросшую курчавыми рыжими волосами. Иуда вступил в круг играющих. И так как всем было очень весело, то встретили его с радостью и громкими шутками, и даже Иоанн снисходительно улыбнулся, когда Иуда, кряхтя и притворно охая, взялся за огромный камень. Но вот он легко поднял его и бросил, и слепой, широко открытый глаз его, покачнувшись, неподвижно уставился на Петра, а другой, лукавый и весёлый, налился тихим смехом.

— Нет, ты ещё брось! — сказал Пётр обиженно. И вот один за другим поднимали они и бросали гигантские камни, и, удивляясь, смотрели на них ученики. Пётр бросал большой камень, — Иуда ещё больше. Пётр, хмурый и сосредоточенный, гневно ворочал обломок скалы, шатаясь, поднимал его и ронял вниз, — Иуда, продолжая улыбаться, отыскивал глазом ещё больший обломок, ласково впивался в него длинными пальцами, облипал его, качался вместе с ним и, бледнея, посылал его в пропасть. Бросив свой камень, Пётр откидывался назад и так следил за его падением, — Иуда же наклонялся вперёд, выгибался и простирали длинные шевелящиеся руки, точно сам хотел улететь за камнем. Наконец оба они, сперва Пётр, потом Иуда, схватились за старый, седой камень

— и не могли его поднять, ни тот, ни другой. Весь красный, Пётр решительно подошёл к Иисусу и громко сказал:

— Господи! я не хочу, чтобы Иуда был сильнее меня. Помогите мне поднять тот камень и бросить.

И тихо ответил ему что-то Иисус. Пётр недовольно пожал широкими плечами, но ничего не осмелился возразить и вернулся назад со словами:

— Он сказал: а кто поможет Искарриоту? Но вот взглянул он на Иуду, который, задыхаясь и крепко стиснув зубы, продолжал ещё обнимать упорный камень, и весело засмеялся:

— Вот так больной! Посмотрите, что делает наш больной, бедный Иуда!

И засмеялся сам Иуда, так неожиданно уличённый в своей лжи, и засмеялись все остальные, — даже Фома слегка раздвинул улыбкой свои прямые, нависшие на губы, серые усы. И так, дружелюбно болтая и смеясь, все двинулись в путь, и Пётр, совершенно примирившийся с победителем, время от времени подталкивал его кулаком в бок и громко хохотал:

— Вот так больной!

Все хвалили Иуду, все признавали, что он победитель, все дружелюбно болтали с ним, но Иисус, — но Иисус и на этот раз не захотел похвалить Иуду. Молча шёл он впереди, покусывая сорванную травинку, и понемногу один за другим переставали смеяться ученики и переходили к Иисусу. И в скором времени опять вышло так, что все они тесною кучкою шли впереди, а Иуда — Иуда-победитель — Иуда сильный — один плёлся сзади, глотая пыль.

Вот они остановились, и Иисус положил руку на плечо Петра, другой рукою указывая вдаль, где уже показался в дымке Иерусалим. И широкая, могучая спина Петра бережно приняла эту тонкую, загорелую руку.

На ночлег они остановились в Вифании, в доме Лазаря. И когда все собрались для беседы. Иуда подумал, что теперь вспомнят о его победе над Петром, и сел поближе. Но ученики были молчаливы и необычно задумчивы. Образы пройденного пути: и солнце, и камень, и трава, и Христос, возлежащий в шатре, тихо плыли в голове, навевая мягкую задумчивость, рождая смутные, но сладкие грёзы о каком-то вечном движении под солнцем. Сладко отдыхало утомлённое тело, и все оно думало о чем-то загадочно-прекрасном и большом, — и никто не вспомнил об Иуде.

Иуда вышел. Потом вернулся. Иисус говорил, и в молчании слушали его речь ученики. Неподвижно, как изваяние, сидела у ног его Мария и, закинув голову, смотрела в его лицо. Иоанн, придвинувшись близко, старался сделать так, чтобы рука его коснулась одежды учителя, но не обеспокоила его. Коснулся — и замер. И громко и сильно дышал Пётр, вторя дыханием своим речи Иисуса.

Искариот остановился у порога и, презрительно миновав взглядом собравшихся, весь огонь его сосредоточил на Иисусе. И по мере того как смотрел, гасло все вокруг него, одевалось тьмою и безмолвием, и только светлел Иисус с своею поднятой рукою. Но вот и он словно поднялся в воздух, словно растаял и сделался такой, как будто весь он состоял из надозерного тумана, пронизанного светом заходящей луны, и мягкая речь его звучала где-то далеко-далеко и нежно. И, вглядываясь в колеблющийся призрак, вслушиваясь в нежную мелодию далёких и призрачных слов. Иуда забрал в железные пальцы всю душу и в необъятном мраке её, молча, начал строить что-то огромное. Медленно, в глубокой тьме, он поднимал какие-то громады, подобные горам, и плавно накладывал одна на другую, и снова поднимал, и снова накладывал, и что-то росло во мраке, ширилось беззвучно, раздвигало границы. Вот куполом почувствовал он голову свою, и в непроглядном мраке его продолжало расти огромное, и кто-то молча работал: поднимал громады, подобные горам, накладывал одну на другую и снова поднимал... И нежно звучали где-то далёкие и призрачные слова.

Так стоял он, загораживая дверь, огромный и чёрный, и говорил Иисус, и громко вторило его словам прерывистое и сильное дыхание Петра. Но вдруг Иисус смолк — резким незаконченным звуком, и Пётр, точно проснувшись, восторженно воскликнул:

— Господи! Тебе ведомы глаголы вечной жизни! Но Иисус молчал и пристально глядел куда-то. И когда последовали за его взором, то увидели у дверей окаменевшего Иуду с раскрытым ртом и остановившимися глазами. И, не поняв, в чем дело, засмеялись. Матфей же, начитанный в Писании, притронулся к плечу Иуды и сказал словами Соломона:

— Смотрящий кротко — помилован будет, а встречающийся в воротах — стеснит других.

Иуда вздрогнул и даже вскрикнул слегка от испуга, и все у него — глаза, руки и ноги — точно побежало в разные стороны, как у животного, которое внезапно увидело над собою глаза человека. Прямо к Иуде шёл Иисус и слово какое-то нёс на устах своих — и прошёл мимо Иуды в открытую и теперь свободную дверь.

Уже в середине ночи обеспокоенный Фома подошёл к ложу Иуды, присел на корточки и спросил:

— Ты плачешь. Иуда?

— Нет. Отойди, Фома.

— Отчего же ты стонешь и скрипишь зубами? Ты нездоров?

Иуда помолчал, и из уст его, одно за другим, стали падать тяжёлые слова, налитые тоскою и гневом.

— Почему он не любит меня? Почему он любит тех? Разве я не красивее, не лучше, не сильнее их? Разве не я спас ему жизнь, пока те бежали, согнувшись, как трусливые собаки?

— Мой бедный друг, ты не совсем прав. Ты вовсе не красив, и язык твой так же неприятен, как и твоё лицо. Ты лжёшь и злословишь постоянно, как же ты хочешь, чтобы тебя любил Иисус?

Но Иуда точно не слышал его и продолжал, тяжело шевелясь в темноте:

— Почему он не с Иудой, а с теми, кто его не любит? Иоанн принёс ему ящерицу — я принёс бы ему ядовитую змею. Пётр бросал камни — я гору бы повернул для него! Но что такое ядовитая змея? Вот вырван у неё зуб, и ожерельем ложится она вокруг шеи. Но что такое гора, которую можно скрыть руками и ногами потоптать? Я дал бы ему Иуду, смелого, прекрасного Иуду! А теперь он погибнет, и вместе с ним погибнет и Иуда.

— Ты что-то странное говоришь. Иуда!

— Сухая смоковница, которую нужно порубить секирою, — ведь это я, это обо мне он сказал. Почему же он не рубит? он не смеет, Фома. Я его знаю: он боится Иуды! Он прячется от смелого, сильного, прекрасного Иуды! Он любит глупых, предателей, лжецов. Ты лжец, Фома, ты слыхал об этом?

Фома очень удивился и хотел возражать, но подумал, что Иуда просто бранится, и только покачал в темноте головою. И ещё сильнее затосковал Иуда, он стонал, скрежетал зубами, и слышно было, как беспокойно движется под покрывалом все его большое тело.

— Что так болит у Иуды? Кто приложил огонь к его телу? Он сына своего отдаёт собакам! Он дочь свою отдаёт разбойникам на поругание, невесту свою

— на непотребство. Но разве не нежное сердце у Иуды? Уйди, Фома, уйди, глупый. Пусть один останется сильный, смелый, прекрасный Иуда!

## IV

Иуда утаил несколько динариев, и это открылось благодаря Фоме, который видел случайно, сколько было дано денег. Можно было предположить, что это уже не в первый раз Иуда совершает кражу, и все пришли в негодование. Разгневанный Пётр схватил Иуду за ворот его платья и почти волоком притащил к Иисусу, и испуганный, побледневший Иуда не сопротивлялся.

— Учитель, смотри! Вот он — шутник! Вот он — вор! Ты ему поверил, а он крадёт наши деньги. Вор! Негодяй! Если ты позволишь, я сам...

Но Иисус молчал. И, внимательно взглянув на него, Пётр быстро покраснел и разжал руку, державшую ворот. Иуда стыдливо оправился, искоса поглядел на Петра и принял покорно-угнетённый вид раскаявшегося преступника.

— Так вот как! — сердито сказал Пётр и громко хлопнул дверью, уходя. И все были недовольны и говорили, что ни за что не останутся теперь с Иудою, — но Иоанн что-то быстро сообразил и проскользнул в дверь, за которою слышался тихий и как будто даже ласковый голос Иисуса. И когда по прошествии времени вышел оттуда, то был бледный, и потупленные глаза его краснели как бы от недавних слез.

— Учитель сказал... Учитель сказал, что Иуда может брать денег, сколько он хочет.

Пётр сердито засмеялся. Быстро, с укором взглянул на него Иоанн и, внезапно загоревшись весь, смешивая слезы с гневом, восторг со слезами, звонко воскликнул:

— И никто не должен считать, сколько денег получил Иуда. Он наш брат, и все деньги его, как и наши, и если ему нужно много, пусть берет много, никому не говоря и ни с кем не советуясь. Иуда наш брат, и вы тяжко обидели его — так сказал учитель... Стыдно нам, братья!

В дверях стоял бледный, криво улыбавшийся Иуда, и лёгким движением Иоанн приблизился и трижды поцеловал его. За ним, оглядываясь друг на друга, смущённо подошли Иаков, Филипп и другие, — после каждого поцелуя Иуда вытирал рот, но чмокал громко, как будто этот звук доставлял ему удовольствие. Последним подошёл Пётр.

— Все мы тут глупые, все слепые. Иуда. Один он видит, один он умный. Мне можно поцеловать тебя?

— Отчего же? Целуй! — согласился Иуда.

Пётр крепко поцеловал его и на ухо громко сказал:

— А я тебя чуть не удушил! Они хоть так, а я прямо за горло! Тебе не больно было?

— Немножко.

— Пойду к нему и все расскажу. Ведь я и на него рассердился, — мрачно сказал Пётр, стараясь тихонько, без шума, отворить дверь.

— А что же ты, Фома? — строго спросил Иоанн, наблюдавший за действиями и словами учеников.

— Я ещё не знаю. Мне нужно подумать. И долго думал Фома, почти весь день. Разошлись по делам своим ученики, и уже где-то за стеною громко и весело кричал Пётр, а он все соображал. Он сделал бы это быстрее, но ему несколько мешал Иуда, неотступно следивший за ним насмешливым взглядом и изредка серьёзно спрашивавший:

— Ну как, Фома? Как идёт дело?

Потом Иуда притащил свой денежный ящик и громко, звеня монетами и притворно не глядя на Фому, стал считать деньги.

— Двадцать один, двадцать два, двадцать три... Смотри, Фома, опять фальшивая монета. Ах, какие все люди мошенники, они даже жертвуют фальшивые деньги... Двадцать четыре... А потом опять скажут, что украл Иуда... Двадцать пять, двадцать шесть...

Фома решительно подошёл к нему — уже к вечеру это было — и сказал:

— Он прав, Иуда. Дай я поцелую тебя.

— Вот как? Двадцать девять, тридцать. Напрасно. Я опять буду красть. Тридцать один...

— Как же можно красть, когда нет ни своего, ни чужого. Ты просто будешь брат, сколько тебе нужно, брат.

— И это столько времени тебе понадобилось, чтобы повторить только его слова? Не дорожишь же ты временем, умный Фома.

— Ты, кажется, смеёшься надо мною, брат?

— И подумай, хорошо ли ты поступаешь, добродетельный Фома, повторяя слова его? Ведь это он сказал — «своё», — а не ты. Это он поцеловал меня — вы же только осквернили мне рот. Я и до сих пор чувствую, как ползают по мне ваши мокрые губы. Это так отвратительно, добрый Фома. Тридцать восемь, тридцать девять, сорок. Сорок динариев, Фома, не хочешь ли проверить?

— Ведь он наш учитель. Как же нам не повторять слов учителя?

— Разве отвалился ворот у Иуды? Разве он теперь голый и его не за что схватить? Вот уйдёт учитель из дому, и опять украдёт нечаянно Иуда три динария, и разве не за тот же ворот вы схватите его?

— Мы теперь знаем. Иуда. Мы поняли.

— А разве не у всех учеников плохая память? И разве не всех учителей обманывали их ученики? Вот поднял учитель розгу — ученики кричат: мы знаем, учитель! А ушёл учитель спать, и говорят ученики: не этому ли учил нас учитель? И тут. Сегодня утром ты назвал меня: вор. Сегодня вечером ты зовёшь меня: брат. А как ты назовёшь меня завтра?

Иуда засмеялся и, легко поднимая рукою тяжёлый, звенящий ящик, продолжал:

— Когда дует сильный ветер, он поднимает сор. И глупые люди смотрят на сор и говорят: вот ветер! А это только сор, мой добрый Фома, ослиный помёт, растоптанный ногами. Вот встретил он стену и тихо лёг у

подножия её. а ветер летит дальше, ветер летит дальше, мой добрый Фома!

Иуда предупредительно показал рукой через стену и снова засмеялся.

— Я рад, что тебе весело. — сказал Фома. — Но очень жаль, что в твоей весёлости так много зла.

— Как же не быть весёлым человеку, которого столько целовали и который так полезен? Если бы я не украл трех динариев, разве узнал бы Иоанн, что такое восторг? И разве не приятно быть крюком, на который вывешивает для просушки: Иоанн — свою отсыревшую добродетель, Фома — свой ум, поеденный молью?

— Мне кажется, что лучше мне уйти.

— Но ведь я же шучу. Я шучу, мой добрый Фома, — я только хотел знать, действительно ли ты желаешь поцеловать старого, противного Иуду, вора, который украл три динария и отдал их блуднице.

— Блуднице? — удивился Фома. — А об этом ты сказал учителю?

— Вот ты опять сомневаешься, Фома. Да, блуднице. Но если бы ты знал, Фома, что это была за несчастная женщина. Уже два дня она ничего не ела...

— Ты это знаешь наверное? — смутился Фома.

— Да, конечно. Ведь я сам два дня был с нею и видел, что она ничего не ест и пьёт только красное вино. Она шаталась от истощения, и я падал вместе с нею...

Фома быстро встал и, уже отойдя на несколько шагов, кинул Иуде:

— По-видимому, в тебя вселился сатана. Иуда. И, уходя, слышал в наступивших сумерках, как жалобно позванивал в руках Иуды тяжёлый денежный ящик. И как будто смеялся Иуда.

Но уже на другой день Фоме пришлось сознаться, что он ошибся в Иуде — так прост, мягок и в то же время серьёзен был Искарот. Он не кривлялся, не шутил злоречиво, не кланялся и не оскорблял, но тихо и незаметно делал своё хозяйственное дело. Был он проворен, как и прежде, — точно не две ноги, как у всех людей, а целый десяток имел их, но бегал бесшумно, без писка, воплей и смеха, похожего на смех гиены, каким раньше сопровождал он все действия свои. А когда Иисус начинал говорить, он тихо усаживался в углу, складывал свои руки и ноги и смотрел так хорошо своими большими глазами, что многие обратили на это внимание. И о людях он перестал говорить дурное, и больше молчал, так что сам строгий Матфей счёл возможным похвалить его, сказав словами Соломона:

— Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит.

И поднял палец, намекая тем на прежнее злоречие Иуды. В скором времени и все заметили в Иуде эту перемену и порадовались ей, и только Иисус все так же чуждо смотрел на него, хотя прямо ничем не выражал своего нерасположения. И сам Иоанн, которому Иуда оказывал теперь глубокое почтение, как любимому ученику Иисуса и своему заступнику в случае с тремя динариями, стал относиться к нему несколько мягче и даже иногда вступал в беседу.

— Как ты думаешь. Иуда, — сказал он однажды снисходительно, — кто из нас, Пётр или я, будет первым возле Христа в его небесном царствии?

Иуда подумал и ответил:

— Я полагаю, что ты.

— А Пётр думает, что он, — усмехнулся Иоанн.

— Нет. Пётр всех ангелов разгонит своим криком, — ты слышишь, как он кричит? Конечно, он будет спорить с тобою и постарается первый занять место, так как уверяет, что тоже любит Иисуса, — но он уже староват, а ты молод, он тяжёл на ногу, а ты бегаешь быстро, и ты первый войдёшь туда со Христом. Не так ли?

— Да, я не оставлю Иисуса, — согласился Иоанн. И в тот же самый день и с таким же вопросом обратился к Иуде Пётр Симонов. Но, боясь, что громкий голос его будет услышан другими, отвёл Иуду в самый дальний угол, за дом.

— Так как же ты думаешь? — тревожно спрашивал он. — Ты умный, тебя за ум сам учитель хвалит, и ты скажешь правду.

— Конечно, ты, — без колебания ответил Искарот, и Пётр с негодованием воскликнул:

— Я ему говорил!

— Но, конечно, и там он будет стараться отнять у тебя первое место.

— Конечно!

— Но что он может сделать, когда место уже будет занято тобою? Ведь ты первый пойдёшь туда с Иисусом? Ты не оставишь его одного? Разве не тебя назвал он — камень?

Пётр положил руку на плечо Иуды и горячо сказал:

— Говорю тебе. Иуда, ты самый умный из нас. Зачем только ты такой насмешливый и злой? Учитель не любит этого. А то ведь и ты мог бы стать любимым учеником, не хуже Иоанна. Но только и тебе, — Пётр угрожающе поднял руку, — не отдам я своего места возле Иисуса, ни на земле, ни там! Слышишь!

Так старался Иуда доставить всем приятное, но и своё что-то думал при этом. И, оставаясь все тем же скромным, сдержанным и незаметным, каждому умел сказать то, что ему особенно нравится. Так, Фоме он

сказал:

— Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Матфею же, который страдал некоторым излишеством в пище и питьё и стыдился этого, привёл слова мудрого и почитаемого им Соломона:

— Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение.

Но и приятное говорил редко, тем самым придавая ему особенную ценность, а больше молчал, внимательно прислушивался ко всему, что говорится, и думал о чем-то. Размышляющий Иуда имел, однако, вид неприятный, смешной и в то же время внушающий страх. Пока двигался его живой и хитрый глаз, Иуда казался простым и добрым, но когда оба глаза останавливались неподвижно и в странные бугры и складки собиралась кожа на его выпуклом лбу, — являлась тягостная догадка о каких-то совсем особенных мыслях, ворочающихся под этим черепом. Совсем чужие, совсем особенные, совсем не имеющие языка, они глухим молчанием тайны окружали размышляющего Искарриота, и хотелось, чтобы он поскорее начал говорить, шевелиться, даже лгать. Ибо сама ложь, сказанная человеческим языком, казалась правдою и светом перед этим безнадежно-глухим и неотзывчивым молчанием.

— Опять задумался. Иуда? — кричал Пётр, своим ясным голосом и лицом внезапно разрывая глухое молчание Иудиных дум, отгоняя их куда-то в тёмный угол. — О чем ты думаешь?

— О многом, — с покойной улыбкой отвечал Искарриот. И, заметив, вероятно, как нехорошо действует на других его молчание, чаще стал удаляться от учеников и много времени проводил в уединённых прогулках или же забирался на плоскую кровлю и там тихонько сидел. И уже несколько раз слегка пугался Фома, наткнувшись неожиданно в темноте на какую-то серую грудку, из которой вдруг высовывались руки и ноги Иуды и слышался его шуточный голос.

Только однажды Иуда как-то особенно резко и странно напомнил прежнего Иуду, и произошло это как раз во время спора о первенстве в царствии небесном. В присутствии учителя Пётр и Иоанн перекорялись друг с другом, горячо оспаривая своё место возле Иисуса: перечисляли свои заслуги, мерили степень своей любви к Иисусу, горячились, кричали, даже бранились несдержанно, Пётр — весь красный от гнева, рокошующий, Иоанн — бледный и тихий, с дрожащими руками и кусающейся речью. Уже непристойным делался их спор и начал хмуриться учитель, когда Пётр взглянул случайно на Иуду и самодовольно захохотал, взглянул на Иуду Иоанн и также улыбнулся, — каждый из них вспомнил, что говорил ему умный Искарриот. И, уже предвкушая радость близкого торжества, они молча и согласно призвали Иуду в судьи, и Пётр закричал:

— Ну-ка, умный Иуда! Скажи-ка нам, кто будет первый возле Иисуса — он или я?

Но Иуда молчал, дышал тяжело и глазами жадно спрашивал о чем-то спокойно-глубокие глаза Иисуса.

— Да, — подтвердил снисходительно Иоанн, — скажи ты ему, кто будет первый возле Иисуса.

Не отрывая глаз от Христа. Иуда медленно поднялся и ответил тихо и важно:

— Я!

Иисус медленно опустил взоры. И, тихо бия себя в грудь костлявым пальцем, Искарриот повторил торжественно и строго:

— Я! Я буду возле Иисуса!

И вышел. Поражённые дерзкой выходкой, ученики молчали, и только Пётр, вдруг вспомнив что-то, шепнул Фоме неожиданно тихим голосом:

— Так вот о чем он думает!.. Ты слышал?

## V

Как раз в это время Иуда Искарриот совершил первый, решительный шаг к предательству: тайно посетил первосвященника Анну. Был он встречен очень сурово, но не смутился этим и потребовал продолжительной беседы с глазу на глаз. И, оставшись наедине с сухим и суровым стариком, презрительно смотревшим на него из-под нависших, тяжёлых век, рассказал, что он. Иуда, человек благочестивый и в ученики к Иисусу Назарю вступил с единственной целью уличить обманщика и предать его в руки закона.

— А кто он, этот Назарей? — пренебрежительно спросил Анна, делая вид, что в первый раз слышит имя Иисуса.

Иуда также сделал вид, что верит странному неведению первосвященника, и подробно рассказал о проповеди Иисуса и чудесах, ненависти его к фарисеям и храму, о постоянных нарушениях им закона и, наконец, о желании его исторгнуть власть из рук церковников и создать своё особенное царство. И так искусно перемешивал правду с ложью, что внимательно взглянул на него Анна и лениво сказал:

— Мало ли в Иудее обманщиков и безумцев?

— Нет, он опасный человек, — горячо возразил Иуда, — он нарушает закон. И пусть лучше один человек погибнет, чем весь народ.

Анна одобрительно кивнул головою.

— Но у него, кажется, много учеников?

— Да, много.

— И они, вероятно, очень любят его?

— Да, они говорят, что любят. Очень любят, больше, чем себя.

— Но если мы захотим взять его, не вступятся ли они? Не поднимут ли они восстания?

Иуда засмеялся продолжительно и зло:

— Они? Эти трусливые собаки, которые бегут, как только человек наклоняется за камнем. Они!

— Разве они такие дурные? — холодно спросил Анна.

— А разве дурные бегают от хороших, а не хорошие от дурных? Хе! Они хорошие, и поэтому побегут.

Они хорошие, и поэтому они спрячутся. Они хорошие, и поэтому они явятся только тогда, когда Иисуса надо будет класть в гроб. И они положат его сами, а ты только казни!

— Но ведь они же любят его? Ты сам сказал.

— Своего учителя они всегда любят, но больше мёртвым, чем живым. Когда учитель жив, он может спросить у них урок, и тогда им будет плохо. А когда учитель умирает, они сами становятся учителями, и плохо делается уже другим! Хе!

Анна проницательно взглянул на предателя, и сухие губы его сморщились, — это значило, что Анна улыбается.

— Ты обижен ими? Я это вижу.

— Разве может укрыться что-либо от твоей проницательности, мудрый Анна? Ты проник в самое сердце Иуды. Да. Они обидели бедного Иуду. Они сказали, что он украл у них три динария, — как будто Иуда не самый честный человек в Израиле!

И ещё долго говорили они об Иисусе, об учениках его, о гибельном влиянии его на израильский народ, — но решительного ответа не дал на этот раз осторожный и хитрый Анна. Он уж давно следил за Иисусом и на тайных совещаниях с родственниками и друзьями своими, начальниками и саддукеями уже давно решил участь пророка из Галилеи. Но он не доверял Иуде, о котором и раньше слышал как о дурном и лживом человеке, не доверял его легкомысленным надеждам на трусость учеников и народа. В свою силу Анна верил, но боялся кровопролития, боялся грозного бунта, на который так легко шёл непокорный и гневливый народ иерусалимский, боялся, наконец, сурового вмешательства властей из Рима. Раздутая сопротивлением, оплодотворённая красной кровью народа, дающей жизнь всему, на что она падёт, — ещё сильнее разрастётся ересь и в гибких кольцах своих задушит Анну, и власть, и всех его друзей. И когда во второй раз постучался к нему Искарriot, Анна смутился духом и не принял его. Но и в третий и в четвёртый раз пришёл к нему Искарriot, настойчивый, как ветер, который и днём и ночью стучится в запертую дверь и дышит в скважины её.

— Я вижу, что боится чего-то мудрый Анна, — сказал Иуда, допущенный наконец к первосвященнику.

— Я довольно силён, чтобы ничего не бояться, — надменно ответил Анна, и Искарriot раболепно поклонился, простирая руки. — Чего ты хочешь?

— Я хочу предать вам Назарея.

— Он нам не нужен.

Иуда поклонился и ждал, покорно устремив свой глаз на первосвященника.

— Ступай.

— Но я должен прийти опять. Не так ли, почтённый Анна?

— Тебя не пустят. Ступай.

Но вот и ещё раз, и ещё раз постучался Иуда из Кариота и был впущен к престарелому Анне. Сухой и злобный, удручённый мыслями, молча глядел он на предателя и точно считал волосы на бугроватой голове его. Но молчал и Иуда

— точно и сам подсчитывал волоски в реденькой седой бородке первосвященника.

— Ну? Ты опять здесь? — надменно бросил, точно плюнул на голову, раздражённый Анна.

— Я хочу предать вам Назарея.

Оба замолчали, продолжая с вниманием разглядывать друг друга. Но Искарriot смотрел спокойно, а Анну уже начала покалывать тихая злость, сухая и холодная, как предутренний иней зимою.

— Сколько же ты хочешь за твоего Иисуса?

— А сколько вы дадите?

Анна с наслаждением оскорбительно сказал:

— Вы все шайка мошенников. Тридцать серебряников — вот сколько мы дадим.

И тихо порадовался, видя, как весь затрепыхал, задвигался, забегал Иуда

— проворный и быстрый, как будто не две ноги, а целый десяток их было у него.

— За Иисуса? Тридцать Серебряников? — закричал он голосом дикого изумления, порадовавшимся

Анну. — За Иисуса Назаря! И вы хотите купить Иисуса за тридцать серебряников? И вы думаете, что вам могут продать Иисуса за тридцать Серебряников?

Иуда быстро повернулся к стене и захохотал в её белое плоское лицо, поднимая длинные руки:

— Ты слышишь? Тридцать Серебряников! За Иисуса! С той же тихой радостью Анна равнодушно заметил:

— Если не хочешь, то ступай. Мы найдём человека, который продаст дешевле.

И, точно торговцы старым платьем, которые на грязной площади перебрасывают с рук на руки негодную ветошь, кричат, клянутся и бранятся, они вступили в горячий и бешеный торг. Упиваясь странным восторгом, бегая, вертясь, крича, Иуда по пальцам вычислял достоинства того, кого он продаёт.

— А то, что он добр и исцеляет больных, это так уже ничего и не стоит, по-вашему? А? Нет, вы скажите, как честный человек!

— Если ты... — пробовал вставить порозовевший Анна, холодная злость которого быстро нагревалась на раскалённых словах Иуды, но тот беззастенчиво перебивал его:

— А то, что он красив и молод, — как нарцисс саронский, как лилия долин? А? Это ничего не стоит? Вы, быть может, скажете, что он стар и никуда не годен, что Иуда продаёт вам старого петуха? А?

— Если ты... — старался кричать Анна, но его старческий голос, как пух ветром, уносила отчаянно-бурная речь Иуды.

— Тридцать Серебряников! Ведь это одного оболы не выходит за каплю крови! Половины оболы не выходит за слезу! Четверть оболы за стон! А крики! А судороги! А за то, чтобы его сердце остановилось? А за то, чтобы закрылись его глаза? Это даром? — вопил Искарот, наступая на первосвященника, всего его одевая безумным движением своих рук, пальцев, крутящихся слов.

— За все! За все! — задышался Анна.

— А сами вы сколько наживёте на этом? Хе? Вы ограбить хотите Иуду, кусок хлеба вырвать у его детей? Я не могу! Я на площадь пойду, я кричать буду: Анна ограбил бедного Иуду! Спасите!

Утомлённый, совсем закружившийся Анна бешено затопал по полу мягкими туфлями и замахал руками:

— Вон!.. Вон!..

Но Иуда вдруг смиренно согнулся и покорно развёл руками:

— Но если ты так... Зачем же ты сердисься на бедного Иуду, который желает добра своим детям? У тебя тоже есть дети, прекрасные молодые люди...

— Мы другого... Мы другого... Вон!

— Но разве я сказал, что я не могу уступить? И разве я вам не верю, что может прийти другой и отдать вам Иисуса за пятнадцать оболы? За два оболы? За один?

И, кланяясь все ниже, извиваясь и лстя. Иуда покорно согласился на предложенные ему деньги. Дрожащею, сухою рукой порозовевший Анна отдал ему деньги и, молча, отвернувшись и жуя губами, ждал, пока Иуда перепробовал на зубах все серебряные монеты. Изредка Анна оглядывался и, точно обжегшись, снова поднимал голову к потолку и усиленно жевал губами.

— Теперь так много фальшивых денег, — спокойно пояснил Иуда.

— Это деньги, пожертвованные благочестивыми людьми на храм, — сказал Анна, быстро оглянувшись и ещё быстрее подставив глазам Иуды свой розоватый лысый затылок.

— Но разве благочестивые люди умеют отличить фальшивое от настоящего? Это умеют только мошенники.

Полученные деньги Иуда не отнёс домой, но, выйдя за город, спрятал их под камнем. И назад он возвращался тихо, тяжёлыми и медлительными шагами, как раненое животное, медленно уползающее в свою тёмную нору после жестокой и смертельной битвы. Но не было своей норы у Иуды, а был дом, и в этом доме он увидел Иисуса. Усталый, похудевший, измученный непрерывной борьбой с фарисеями, стеною белых, блестящих учёных лбов окружавших его каждодневно в храме, он сидел, прижавшись щекою к шершавой стене, и, по-видимому, крепко спал. В открытое окно влетали беспокойные звуки города, за стеной стучал Пётр, сбивая для трапезы новый стол, и напевал тихую галилейскую песенку, — но он ничего не слышал и спал спокойно и крепко. И это был тот, кого они купили за тридцать серебряников.

Бесшумно продвинувшись вперёд. Иуда с нежной осторожностью матери, которая боится разбудить своё больное дитя, с изумлением вылезшего из логовища зверя, которого вдруг очаровал беленький цветок, тихо коснулся его мягких волос и быстро отдернул руку. Ещё раз коснулся — и выполз бесшумно.

— Господи! — сказал он. — Господи!

И, выйдя в место, куда ходили по нужде, долго плакал там, корчась, извиваясь, царапая ногтями грудь и кусая плечи. Ласкал воображаемые волосы Иисуса, нашёптывал тихо что-то нежное и смешное и скрипел зубами. Потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами и тяжело задумался, склонив на сторону мокрое лицо, похожий на человека, который прислушивается. И так долго стоял он, тяжёлый,

решительный и всему чужой, как сама судьба.

...Тихою любовью, нежным вниманием, ласкою окружил Иуда несчастного Иисуса в эти последние дни его короткой жизни. Стыдливый и робкий, как девушка в своей первой любви, страшно чуткий и проницательный, как она, — он угадывал малейшие невысказанные желания Иисуса, проникал в сокровенную глубину его ощущений, мимолётных вспышек грусти, тяжёлых мгновений усталости. И куда бы ни ступала нога Иисуса, она встречала мягкое, и куда бы ни обращался его взор, он находил приятное. Раньше Иуда не любил Марию Магдалину и других женщин, которые были возле Иисуса, грубо шутил над ними и причинял мелкие неприятности — теперь он стал их другом, смешным и неповоротливым союзником. С глубоким интересом разговаривал с ними о маленьких, милых привычках Иисуса, подолгу с настойчивостью расспрашивая об одном и том же, таинственно совал деньги в руку, в самую ладонь, — и те приносили амбру, благовонное дорогое мирро, столь любимое Иисусом, и обтирали ему ноги. Сам покупал, отчаянно торгуясь, дорогое вино для Иисуса и потом очень сердился, когда почти все его выпивал Пётр с равнодушием человека, придающего значение только количеству, и в каменистом Иерусалиме, почти вовсе лишённом деревьев, цветов и зелени, доставал откуда-то молоденькие весенние цветы, зелёную травку и через тех же женщин передавал Иисусу. Сам приносил на руках — первый раз в жизни — маленьких детей, добывая их где-то по дворам или на улице и принуждённо целуя их, чтобы не плакали, и часто случалось, что к задумавшемуся Иисусу вдруг вползло на колени что-то маленькое, черненькое, с курчавыми волосами и грязным носиком и требовательно искало ласки. И пока оба они радовались друг на друга. Иуда строго прохаживался в стороне, как суровый тюремщик, который сам весною впустил к заключённому бабочку и теперь притворно ворчит, жалуясь на беспорядок.

По вечерам, когда вместе с тьмою у окон становилась на страже и тревога. Искарriot искусно наводил разговор на Галилею, чуждую ему, но милую Иисусу Галилею, с её тихою водой и зелёными берегами. И до тех пор раскачивал он тяжёлого Петра, пока не просыпались в нем засохшие воспоминания, и в ярких картинах, где все было громко, красочно и густо, не вставала перед глазами и слухом милая галилейская жизнь. С жадным вниманием, по-детски полуоткрыв рот, заранее смеясь глазами, слушал Иисус его порывистую, звонкую, весёлую речь и иногда так хохотал над его шутками, что на несколько минут приходилось останавливать рассказ. Но ещё лучше, чем Пётр, рассказывал Иоанн, у него не было смешного и неожиданного, но все становилось таким задумчивым, необыкновенным и прекрасным, что у Иисуса показывались на глазах слезы, и он тихонько вздыхал, а Иуда толкал в бок Марию Магдалину и с восторгом шептал ей:

— Как он рассказывает! Ты слышишь?

— Слышу, конечно.

— Нет, ты лучше слушай. Вы, женщины, никогда не умеете хорошо слушать.

Потом все тихо расходились спать, и Иисус нежно и с благодарностью целовал Иоанна и ласково гладил по плечу высокого Петра.

И без зависти, с снисходительным презрением смотрел Иуда на эти ласки. Что значат все эти рассказы, эти поцелуи и вздохи сравнительно с тем, что знает он. Иуда из Кариота, рыжий, безобразный иудей, рождённый среди камней!

## VI

Одною рукой предавая Иисуса, другою рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы. Он не отговаривал Иисуса от последнего, опасного путешествия в Иерусалим, как делали это женщины, он даже склонялся скорее на сторону родственников Иисуса и тех его учеников, которые победу над Иерусалимом считали необходимою для полного торжества дела. Но настойчиво и упорно предупреждал он об опасности и в живых красках изображал грозную ненависть фарисеев к Иисусу, их готовность пойти на преступление и тайно или явно умертвить пророка из Галилеи. Каждый день и каждый час говорил он об этом, и не было ни одного из верующих, перед кем не стоял бы Иуда, подняв грозный палец, и не говорил бы предостерегающе и строго:

— Нужно беречь Иисуса! Нужно беречь Иисуса! Нужно заступиться за Иисуса, когда придёт на то время.

Но безграничная ли вера учеников в чудесную силу их учителя, сознание ли правоты своей или просто ослепление — пугливые слова Иуды встречались улыбкою, а беско— нечные советы вызывали даже ропот. Когда Иуда добыл откуда-то и принёс два меча, только Петру понравилось это, и только Пётр похвалил мечи и Иуду, остальные же недовольно сказали:

— Разве мы воины, что должны опоясываться мечами? И разве Иисус не пророк, а военачальник?

— Но если они захотят умертвить его?

— Они не посмеют, когда увидят, что весь народ идёт за ним.



— А если посмеют? Тогда что? Иоанн говорил пренебрежительно:

— Можно подумать, что только один ты, Иуда, любишь учителя.

И, жадно вцепившись в эти слова, совсем не обижаясь, Иуда начинал допрашивать торопливо, горячо, с суровой настойчивостью:

— Но вы его любите, да?

И не было ни одного из верующих, приходивших к Иисусу, кого он не спросил бы неоднократно:

— А ты его любишь? Крепко любишь?

И все отвечали, что любят.

Он часто беседовал с Фомой и, подняв предостерегающе сухой, цепкий палец с длинным и грязным ногтем, таинственно предупреждал его:

— Смотри, Фома, близится страшное время. Готовы ли вы к нему? Почему ты не взял меча, который я принёс? Фома рассудительно ответил:

— Мы люди, непривычные к обращению с оружием. И если мы вступим в борьбу с римскими воинами, то они всех нас перебьют. Кроме того, ты принёс только два меча, — что можно сделать двумя мечами?

— Можно ещё достать. Их можно отнять у воинов, — нетерпеливо возразил Иуда, и даже серьёзный Фома улыбнулся сквозь прямые, нависшие усы:

— Ах, Иуда, Иуда! А эти где ты взял? Они похожи на мечи римских солдат.

— Эти я украл. Можно было ещё украсть, но там закричали, — и я убежал.

Фома задумался и печально сказал:

— Опять ты поступил нехорошо, Иуда. Зачем ты крадёшь?

— Но ведь нет же чужого!

— Да, но завтра воинов спросят: а где ваши мечи? И, не найдя, накажут их без вины.

И впоследствии, уже после смерти Иисуса, ученики припоминали эти разговоры Иуды и решили, что вместе с учителем хотел он погубить и их, вызвав на неравную и убийственную борьбу. И ещё раз прокляли ненавистное имя Иуды из Кариота, предателя.

А рассерженный Иуда, после каждого такого разговора, шёл к женщинам и плакался перед ними. И охотно слушали его женщины. То женственное и нежное, что было в его любви к Иисусу, сблизило его с ними, сделало его в их глазах простым, понятным и даже красивым, хотя по-прежнему в его обращении с ними сквозило некоторое пренебрежение.

— Разве это люди? — горько жаловался он на учеников, доверчиво устремляя на Марию свой слепой и неподвижный глаз. — Это же не люди! У них нет крови в жилах даже на обол!

— Но ведь ты же всегда говорил дурно о людях, — возражала Мария.

— Разве я когда-нибудь говорил о людях дурно? — удивлялся Иуда. — Ну да, я говорил о них дурно, но разве не могли бы они быть немного лучше? Ах, Мария, глупая Мария, зачем ты не мужчина и не можешь носить меча!

— Он так тяжёл, я не подниму его, — улыбнулась Мария.

— Поднимешь, когда мужчины будут так плохи. Отдала ли ты Иисусу лилию, которую нашёл я в горах? Я встал рано утром, чтоб найти её, и сегодня было такое красное солнце, Мария! Рад ли был он? Улыбнулся ли он?

— Да, он был рад. Он сказал, что от цветка пахнет Галилеей.

— И ты, конечно, не сказала ему, что это Иуда достал, Иуда из Кариота?

— Ты же просил не говорить.

— Нет, не надо, конечно, не надо, — вздохнул Иуда. — Но ты могла проболтаться, ведь женщины так болтливы. Но ты не проболталась, нет? Ты была тверда? Так, так, Мария, ты хорошая женщина. Ты знаешь, у меня где-то есть жена. Теперь бы я хотел посмотреть на неё: быть может, она тоже неплохая женщина. Не знаю. Она говорила: Иуда лгун. Иуда Симонов злой, и я ушёл от неё. Но, может быть, она и хорошая женщина, ты не знаешь?

— Как же я могу знать, когда я ни разу не видела твоей жены?

— Так, так, Мария. А как ты думаешь, тридцать се-ребреников — это большие деньги? Или нет, небольшие?

— Я думаю, что небольшие.

— Конечно, конечно. А сколько ты получала, когда была блудницей? Пять Серебреников или десять? Ты была дорогая?

Мария Магдалина покраснела и опустила голову, так что пышные золотистые волосы совсем закрыли её лицо: виднелся только круглый и белый подбородок.

— Какой ты недобрый. Иуда! Я хочу забыть об этом, а ты вспоминаешь.

— Нет, Мария, этого забывать не надо. Зачем? Пусть другие забывают, что ты была блудницей, а ты помни. Это другим надо поскорее забыть, а тебе не надо. Зачем?

— Ведь это грех.

— Тому страшно, кто греха ещё не совершал. А кто уже совершил его, — чего бояться тому? Разве мёртвый боится смерти, а не живой? А мёртвый смеётся над живым и над страхом его.

Так дружелюбно сидели они и болтали по целым часам — он, уже старый, сухой, безобразный, со своею бугро-ватой головой и дико раздвоившимся лицом, она — молодая, стыдливая, нежная, очарованная жизнью, как сказкою, как сном.

А время равнодушно протекало, и тридцать Серебреников лежали под камнем, и близился неумолимо страшный день предательства. Уже вступил Иисус в Иерусалим на ослиати, и, расстилая одежды по пути его, приветствовал его народ восторженными криками:

— Осанна! Осанна! Грядый во имя господне! И так велико было ликование, так неудержимо в криках рвалась к нему любовь, что плакал Иисус, а ученики его говорили гордо:

— Не сын ли это божий с нами? И сами кричали торжествуяще:

— Осанна! Осанна! Грядый во имя господне! В тот вечер долго не отходили ко сну, вспоминая торжественную и радостную встречу, а Пётр был как сумасшедший, как одержимый бесом веселия и гордости. Он кричал, заглушая все речи своим львиным рыканием, хохотал, бросая свой хохот на головы, как круглые, большие камни, целовал Иоанна, целовал Иакова и даже поцеловал Иуду. И сознался шумно, что он очень боялся за Иисуса, а теперь ничего не боится, потому что видел любовь народа к Иисусу. Удивлённо, быстро двигая живым и зорким глазом, смотрел по сторонам Искарот, задумывался и вновь слушал и смотрел, потом отвёл в сторону Фому и, точно прикалывая его к стене своим острым взором, спросил в недоумении, страхе и какой-то смутной надежде:

— Фома! А что, если он прав? Если камни у него под ногами, а у меня под ногою — песок только? Тогда что?

— Про кого ты говоришь? — осведомился Фома.

— Как же тогда Иуда из Кариота? Тогда я сам должен удушить его, чтобы сделать правду. Кто обманывает Иуду: вы или сам Иуда? Кто обманывает Иуду? Кто?

— Я тебя не понимаю. Иуда. Ты говоришь очень непонятно. Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И, покачивая головою. Иуда повторил, как эхо:

— Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И на другой ещё день, в том, как поднимал Иуда руку с откинутым большим пальцем, как он смотрел на Фому, звучал все тот же странный вопрос:

— Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И ещё больше удивился и даже обеспокоился Фома, когда вдруг ночью зазвучал громкий и как будто радостный голос Иуды:

— Тогда не будет Иуды из Кариота. Тогда не будет Иисуса. Тогда будет... Фома, глупый Фома! Хотелось ли тебе когда-нибудь взять землю и поднять её? И, может быть, бросить потом.

— Это невозможно. Что ты говоришь. Иуда!

— Это возможно, — убеждённо сказал Искарот. — И мы её поднимем когда-нибудь, когда ты будешь спать, глупый Фома. Спи! Мне весело, Фома! Когда ты спишь, у тебя в носу играет галилейская свирель. Спи!

Но вот уже разошлись по Иерусалиму верующие и скрылись в домах, за стенами, и загадочны стали лица встречаемых. Погасло ликование. И уже смутные слухи об опасности поползли в какие-то щели, пробовал сумрачный Пётр подаренный ему Иудою меч. И все печальнее и строже становилось лицо учителя. Так быстро пробегало время и неумолимо приближало страшный день предательства. Вот прошла и последняя вечеря, полная печали и смутного страха, и уже прозвучали неясные слова Иисуса о ком-то, кто предаст его.

— Ты знаешь, кто его предаст? — спрашивал Фома, смотря на Иуду своими прямыми и ясными, почти прозрачными глазами.

— Да, знаю, — ответил Иуда, суровый и решительный. — Ты, Фома, предашь его. Но он сам не верит тому, что говорит! Пора! Пора! Почему он не зовёт к себе сильного, прекрасного Иуду?

...Уже не днями, а короткими, быстро летящими часами мерялось неумолимое время. И был вечер, и вечерняя тишина была, и длинные тени ложились по земле — первые острые стрелы грядущей ночи великого боя, когда прозвучал печальный и суровый голос. Он говорил:

— Ты знаешь, куда иду я, господи? Я иду предать тебя в руки твоих врагов.

И было долгое молчание, тишина вечера и острые, чёрные тени.

— Ты молчишь, господи? Ты приказываешь мне идти? И снова молчание.

— Позволь мне остаться. Но ты не можешь? Или не смеешь? Или не хочешь?

И снова молчание, огромное, как глаза вечности.

— Но ведь ты знаешь, что я люблю тебя. Ты все знаешь. Зачем ты так смотришь на Иуду? Велика тайна твоих прекрасных глаз, но разве моя — меньше? Повели мне остаться!.. Но ты молчишь, ты все молчишь?

Господи, господи, затем ли в тоске и муках искал я тебя всю мою жизнь, искал и нашёл! Освободи меня. Сними тяжесть, она тяжеле гор и свинца. Разве ты не слышишь, как трещит под нею грудь Иуды из Кариота?

И последнее молчание, бездонное, как последний взгляд вечности.

— Я иду.

Даже не проснулась вечерняя тишина, не закричала и не заплакала она и не зазвенела тихим звоном своего тонкого стекла — так слаб был шум удалявшихся шагов. Прошумели и смолкли. И задумалась вечерняя тишина, протянулась длинными тенями, потемнела — и вдруг вздохнула вся шелестом тоскливо взметнувшихся листьев, вздохнула и замерла, встречая ночь.

Затолклись, захлопали, застучали другие голоса — точно развязал кто-то мешок с живыми звонкими голосами, и они попадали оттуда на землю, по одному, по два, целой кучей. Это говорили ученики. И, покрывая их всех, стучаясь о деревья, о стены, падая на самого себя, загремел решительный и властный голос Петра — он клялся, что никогда не оставит учителя своего.

— Господи! — говорил он с тоскою и гневом. — Господи! С тобою я готов и в темницу и на смерть идти.

И тихо, как мягкое эхо чьих-то удалившихся шагов, прозвучал беспощадный ответ:

— Говорю тебе, Пётр, не пропоёт петух сегодня, как ты трижды отречёшься от меня.

## VII

Уже встала луна, когда Иисус собрался идти на гору Елеонскую, где проводил он все последние ночи свои. Но непонятно медлил он, и ученики, готовые тронуться в путь, торопили его, тогда он сказал внезапно:

— Кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и этому написанному: «И к злодеям причтён».

Ученики удивились и смотрели друг на друга с смущением. Пётр же ответил:

— Господи! вот здесь два меча.

Он взглянул испытующе на их добрые лица, опустил голову и сказал тихо:

— Довольно.

Звонко отдавались в узких улицах шаги идущих — и пугались ученики звука шагов своих, на белой стене, озарённой луною, вырастали их чёрные тени

— и теней своих пугались они. Так молча проходили они по спящему Иерусалиму, и вот уже за ворота города они вышли, и в глубокой лощине, полной загадочно-неподвижных теней, открылся им Кедронский поток. Теперь их пугало все. Тихое журчание и плеск воды на камнях казался им голосами подкрадывающихся людей, уродливые тени скал и деревьев, преграждавшие дорогу, беспокоили их пестротою своею, и движением казалась их ночная неподвижность. Но, по мере того как поднимались они в гору и приближались к Гефсиманскому саду, где в безопасности и тишине уже провели столько ночей, они делались смелее. Изредка оглядываясь на оставленный Иерусалим, весь белый под луною, они разговаривали между собой о минувшем страхе, и те, которые шли сзади, слышали отрывочно тихие слова Иисуса. О том, что все покинут его, говорил он.

В саду, в начале его, они остановились. Большая часть осталась на месте и с тихим говором начала готовиться ко сну, расстилая плащи в прозрачном кружеве теней и лунного света. Иисус же, томимый беспокойством, и четверо его ближайших учеников пошли дальше, в глубину сада. Там сели они на земле, не остывшей ещё от дневного жара, и, пока Иисус молчал, Пётр и Иоанн лениво перекидывались словами, почти лишёнными смысла. Зевая от усталости, они говорили о том, как холодна ночь, и о том, как дорого мясо в Иерусалиме, рыбы же совсем нельзя достать. Старались точным числом определить количество паломников, собравшихся к празднику в город, и Пётр, громкою зевотою растягивая слова, говорил, что двадцать тысяч, а Иоанн и брат его Иаков уверяли так же лениво, что не более десяти. Вдруг Иисус быстро поднялся.

— Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте, — сказал он и быстрыми шагами удалился в чащу и скоро пропал в неподвижности теней и света.

— Куда он? — сказал Иоанн, приподнявшись на локте.

Пётр повернул голову вслед ушедшему и утомлённо ответил:

— Не знаю.

И, ещё раз громко зевнув, опрокинулся на спину и затих. Затихли и остальные, и крепкий сон здоровой усталости охватил их неподвижные тела. Сквозь тяжёлую дрёму Пётр видел смутно что-то белое, наклонившееся над ним, и чей-то голос прозвучал и погас, не оставив следа в его помрачённом сознании.

— Симон, ты спишь?

И опять он спал, и опять какой-то тихий голос коснулся его слуха и погас, не оставив следа:

— Так ли и одного часа не могли вы бодрствовать со мною?

«Ах, господи, если бы ты знал, как мне хочется спать», — подумал он в полусне, но ему показалось, что

сказал он это громко. И снова он уснул, и много как будто прошло времени, когда внезапно выросла около него фигура Иисуса, и громкий будящий голос мгновенно отрезвил его и остальных:

— Вы все ещё спите и поживаете? Конечно, пришёл час — вот предаётся сын человеческий в руки грешников.

Ученики быстро вскочили на ноги, растерянно хватая свои плащи и дрожа от холода внезапного пробуждения. Сквозь чащу деревьев, озаряя их бегучим огнём факелов, с топотом и шумом, в лязге оружия и хрусте ломающихся веток приближалась толпа воинов и служителей храма. А с другой стороны прибежали трясущиеся от холода ученики с испуганными, заспанными лицами и, ещё не понимая, в чем дело, торопливо спрашивали:

— Что это? Что это за люди с факелами? Бледный Фома, со сбившимся на сторону прямым усом, зябко ляскал зубами и говорил Петру:

— По-видимому, это пришли за нами.

Вот толпа воинов окружила их, и дымный, тревожный блеск огней отогнал куда-то в стороны и вверх тихое сияние луны. Впереди воинов торопливо двигался Иуда из Кариота и, остро ворочая живым взгляд своим, разыскивал Иисуса. Нашёл его, на миг остановился взором на его высокой, тонкой фигуре и быстро шепнул служителям:

— Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно. Но только осторожно, вы слышали?

Затем быстро придвинулся к Иисусу, ожидавшему его молча, и погрузил, как нож, свой прямой и острый взгляд в его спокойные, потемневшие глаза.

— Радуйся, равви! — сказал он громко, вкладывая странный и грозный смысл в слова обычного приветствия.

Но Иисус молчал, и с ужасом глядели на предателя ученики, не понимая, как может столько зла вместить в себя душа человека. Быстрым взглядом окинул Искарот их смятенные ряды, заметил трепет, готовый перейти в громко ляскающую дрожь испуга, заметил бледность, бессмысленные улыбки, вялые движения рук, точно стянутых железом у предплечья, — и зажглась в его сердце смертельная скорбь, подобная той, какую испытал перед этим Христос. Вытянувшись в сотню громко звенящих, рыдающих струн, он быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку. Так тихо, так нежно, с такой мучительной любовью и тоской, что, будь Иисус цветком на тоненьком стебельке, он не колыхнул бы его этим поцелуем и жемчужной росы не сронил бы с чистых лепестков.

— Иуда, — сказал Иисус и молнией своего взора осветил ту чудовищную грудку насторожившихся теней, что была душой Искариота, — но в бездонную глубину её не мог проникнуть. — Иуда! Целованием ли предаёшь сына человеческого?

И видел, как дрогнул и пришёл в движение весь этот чудовищный хаос. Безмолвным и строгим, как смерть в своём гордом величии, стоял Иуда из Кариота, а внутри его все стеноло, гремело и выло тысячько буйных и огненных голосов:

«Да! Целованием любви предаём мы тебя. Целованием любви предаём мы тебя на поругание, на истязания, на смерть! Голосом любви скликаем мы палачей из тёмных нор и ставим крест — и высоко над теменем земли мы поднимаем на кресте любовью распятую любовь».

Так стоял Иуда, безмолвный и холодный, как смерть, а крику души его отвечали крики и шум, поднявшиеся вокруг Иисуса. С грубой нерешительностью вооружённой силы, с неловкостью смутно понимаемой цели уже хватили его за руки солдаты и тащили куда-то, свою нерешительность принимая за сопротивление, свой страх — за насмешку над ними и издевательство. Как кучка испуганных ягнят, теснились ученики, ничему не препятствуя, но всем мешая — и даже самим себе, и только немногие решались ходить и действовать отдельно от других. Толкаемый со всех сторон, Пётр Симонов с трудом, точно потеряв все свои силы, извлёк из ножен меч и слабо, косым ударом опустил его на голову одного из служителей, — но никакого вреда не причинил. И заметивший это Иисус приказал ему бросить ненужный меч, и, слабо звякнув, упало под ноги железо, столь видимо лишённое своей колющей и убивающей силы, что никому не пришлось в голову поднять его. Так и валялось оно под ногами, и много дней спустя нашли его на том же месте играющие дети и сделали его своей забавой.

Солдаты распахивали учеников, а те вновь собирались и тупо лезли под ноги, и это продолжалось до тех пор, пока не овладела солдатами презрительная ярость. Вот один из них, насупив брови, двинулся к кричащему Иоанну, другой грубо столкнул с своего плеча руку Фомы, в чем-то убеждавшего его, и к самым прямым и прозрачным глазам его поднёс огромный кулак, — и побежал Иоанн, и побежали Фома и Иаков, и все ученики, сколько ни было их здесь, оставив Иисуса, бежали. Теряя плащи, ушибаясь о деревья, натываясь на камни и падая, они бежали в горы, гонимые страхом, и в тишине лунной ночи звонко гудела земля под топотом многочисленных ног. Кто-то неизвестный, по-видимому только что вставший с постели, ибо был покрыт он только одним одеялом, возбуждённо сновал в толпе воинов и служителей. Но, когда его хотели задержать и схватили за одеяло, он испуганно вскрикнул и бросился бежать, как и другие, оставив свою

одежду в руках солдат. Так совершенно голый бежал он отчаянными скачками, и нагое тело его странно мелькало под луною.

Когда Иисуса увели, вышел из-за деревьев притаившийся Пётр и в отдалении последовал за учителем. И, увидя впереди себя другого человека, шедшего молча, подумал, что это Иоанн, и тихо окликнул его:

— Иоанн, это ты?

— А, это ты, Пётр? — ответил тот, остановившись, и по голосу Пётр признал в нем предателя. — Почему же ты, Пётр, не убежал вместе с другими?

Пётр остановился и с отвращением произнёс:

— Отойди от меня, сатана!

Иуда засмеялся и, не обращая более внимания на Петра, пошёл дальше, туда, где дымно сверкали факелы и лязг оружия смешивался с отчётливым звуком шагов. Двинулся осторожно за ним и Пётр, и так почти одновременно вошли они во двор первосвященника и вmeshались в толпу служителей, гревшихся у костров. Хмуρο грел над огнём свои костлявые руки Иуда и слышал, как где-то позади него громко заговорил Пётр:

— Нет, я не знаю его.

Но там, очевидно, настаивали на том, что он из учеников Иисуса, потому что ещё громче Пётр повторил:

— Да нет же, я не понимаю, что вы говорите! Не оглядываясь и нехотя улыбаясь. Иуда мотнул утвердительно головой и пробормотал:

— Так, так, Пётр! Никому не уступай своего места возле Иисуса!

И не видел он, как ушёл со двора перепуганный Пётр, чтобы не показываться более. И с этого вечера до самой смерти Иисуса не видел Иуда вблизи его ни одного из учеников, и среди всей этой толпы были только они двое, неразлучные до самой смерти, дико связанные общностью страданий, — тот, кого предали на поругание и муки, и тот, кто его предал. Из одного кубка страданий, как братья, пили они оба, преданный и предатель, и огненная влага одинаково опаляла чистые и нечистые уста.

Пристально глядя на огонь костра, наполнявший глаза ощущением жара, протягивая к огню длинные шевелящиеся руки, весь бесформенный в путанице рук и ног, дрожащих теней и света. Искарриот бормотал жалобно и хрипло:

— Как холодно! Боже мой, как холодно! Так, вероятно, когда уезжают ночью рыбаки, оставив на берегу тлеющий костёр, из тёмной глубины моря вылезает нечто, подползает к огню, смотрит на него пристально и дико, тянется к нему всеми членами своими и бормочет жалобно и хрипло:

— Как холодно! Боже мой, как холодно!

Вдруг за своей спиной Иуда услышал взрыв громких голосов, крики и смех солдат, полные знакомой, сонно жадной злобы, и хлёткие, короткие удары по живому телу. Обернулся, пронизанный мгновенной болью всего тела, всех костей, — это били Иисуса.

Так вот оно!

Видел, как солдаты увели Иисуса к себе в караульню. Ночь проходила, гасли костры и покрывались пеплом, а из караульни все ещё неслись глухие крики, смех и ругательства. Это били Иисуса. Точно заблудившись. Искарриот проворно бегал по обезлюдевшему двору, останавливался с разбегу, поднимал голову и снова бежал, удивлённо натываясь на костры, на стены. Потом прилипал к стене караульни и, вытягиваясь, присасывался к окну, к щелям дверей и жадно разглядывал, что делается там. Видел тесную, душную комнату, грязную, как все караульни в мире, с заплёванным полом и такими замасленными, запятнанными стенами, точно по ним ходили или валялись. И видел человека, которого били. Его били по лицу, по голове, перебрасывали, как мягкий тук, с одного конца на другой, и так как он не кричал и не сопротивлялся, то минутами, после напряжённого смотрения, действительно начинало казаться, что это не живой человек, а какая-то мягкая кукла, без костей и крови. И выгибалась она странно, как кукла, и когда при падении ударялась головой о камни пола, то не было впечатления удара твёрдым о твёрдое, а все то же мягкое, безболезненное. И когда долго смотреть, то становилось похоже на какую-то бесконечную, странную игру — иногда до полного почти обмана. После одного сильного толчка человек, или кукла, опустился плавным движением на колени к сидящему солдату, тот, в свою очередь, оттолкнул, и оно, перевернувшись, село к следующему, и так ещё и ещё. Поднялся сильный хохот, и Иуда также улыбнулся — точно чья-то сильная рука железными пальцами разодрала ему рот. Это был обманут рот Иуды.

Ночь тянулась, и костры ещё тлели. Иуда отвалился от стены и медленно прибрел к одному из костров, раскопал уголь, поправил его, и хотя холода теперь не чувствовал, протянул над огнём слегка дрожащие руки. И забормотал тоскливо:

— Ах, больно, очень больно, сыночек мой, сыночек, сыночек. Больно, очень больно—Потом опять пошёл к окну, желтеющему тусклым огнём в прорезе чёрной решётки, и снова стал смотреть, как бьют Иисуса. Один раз перед самыми глазами Иуды промелькнуло его смуглое, теперь обезображенное лицо в чаще

спутавшихся волос. Вот чья-то рука впиалась в эти волосы, повалила человека и, равномерно переворачивая голову с одной стороны на другую, стала лицом его вытирать заплёванный пол. Под самым окном спал солдат, открыв рот с белыми блестящими зубами, вот чья-то широкая спина с толстой, голой шеей загорела окно, и больше ничего уже не видно. И вдруг стало тихо.

Что это? Почему они молчат? Вдруг они догадались?

Мгновенно вся голова Иуды, во всех частях своих, наполняется гулом, криком, рёвом тысяч взбесившихся мыслей. Они догадались? Они поняли, что это

— самый лучший человек? — это так просто, так ясно. Что там теперь? Стоят перед ним на коленях и плачут тихо, целуя его ноги. Вот выходит он сюда, а за ним ползут покорно те — выходит сюда, к Иуде, выходит победителем, мужем, властелином правды, богом...

— Кто обманывает Иуду? Кто прав?

Но нет. Опять крик и шум. Бьют опять. Не поняли, не догадались и бьют ещё сильнее, ещё больше бьют. А костры в догорают, покрываясь пеплом, и дым над ними так же прозрачно синь, как и воздух, и небо так же светло, как и луна. Это наступает день.

— Что такое день? — спрашивает Иуда.

Вот все загорелось, засверкало, помолодело, и дым наверху уже не синий, а розовый. Это восходит солнце.

— Что такое солнце? — спрашивает Иуда.

## VIII

На Иуду показывали пальцами, и некоторые презрительно, другие с ненавистью и страхом говорили:

— Смотрите: это Иуда Предатель!

Это уже начиналась позорная слава его, на которую обрёл он себя вовеки. Тысячи лет пройдут, народы сменятся народами, а в воздухе все ещё будут звучать слова, произносимые с презрением и страхом добрыми и злыми:

— Иуда Предатель... Иуда Предатель!

Но он равнодушно слушал то, что говорили про него, поглощённый чувством всепобеждающего жгучего любопытства. С самого утра, когда вывели из караульни избитого Иисуса, Иуда ходил за ним и как-то странно не ощущал ни тоски, ни боли, ни радости — одно только непобедимое желание все видеть и все слышать. Хотя не спал всю ночь, но тело своё чувствовал лёгким, когда его не пропускали вперёд, теснили, он расталкивал народ толчками и проворно вылезал на первое место, и ни минуты не оставался в покое его живой и быстрый глаз. При допросе Иисуса Каиафой, чтобы не пропустить ни одного слова, он оттопыривал рукою ухо и утвердительно мотал головою, бормоча:

— Так! Так! Ты слышишь, Иисус!

Но свободным он не был — как муха, привязанная на нитку: жужжа летает она туда и сюда, но ни на одну минуту не оставляет её послушная и упорная нитка. Какие-то каменные мысли лежали в затылке у Иуды, и к ним он был привязан крепко, он не знал как будто, что это за мысли, не хотел их трогать, но чувствовал их постоянно. И минутами они вдруг надвигались на него, наседали, начинали давить всею своею невообразимой тяжестью — точно свод каменной пещеры медленно и страшно опускался на его голову. Тогда он хватался рукою за сердце, старался шевелиться весь, как озябший, и спешил перевести глаза на новое место, ещё на новое место. Когда Иисуса выводили от Каиафы, он совсем близко встретил его утомлённый взор и, как-то не отдавая отчёта, несколько раз дружелюбно кивнул головою.

— Я здесь, сынок, здесь! — пробормотал он торопливо и со злобой толкнул в спину какого-то ротозея, стоявшего ему на дороге. Теперь огромной, крикливой толпою все двигались к Пилату, на последний допрос и суд, и с тем же невыносимым любопытством Иуда быстро и жадно разглядывал лица все прибывавшего народа. Многие были совершенно незнакомы, их никогда не видел Иуда, но встречались и те, которые кричали Иисусу: «Осанна!» — и с каждым шагом количество их как будто возрастало.

«Так, так! — быстро подумал Иуда, и голова его закружилась, как у пьяного. — Все кончено. Вот сейчас закричат они: это наш, это Иисус, что вы делаете? И все поймут и...»

Но верующие шли молча. Одни притворно улыбались, делая вид, что все это не касается их, другие что-то сдержанно говорили, но в гуле движения, в громких и иступлённых криках врагов Иисуса бесследно тонули их тихие голоса. И опять стало легко. Вдруг Иуда заметил невдалеке осторожно пробиравшегося Фому и, что-то быстро придумав, хотел к нему подойти. При виде предателя Фома испугался и хотел скрыться, но в узенькой, грязной улочке, между двух стен, Иуда нагнал его.

— Фома! Да погоди же!

Фома остановился и, протягивая вперёд обе руки, торжественно произнёс:

— Отойди от меня, сатана. Искарот нетерпеливо махнул рукою.

— Какой ты глупый, Фома, я думал, что ты умнее других. Сатана! Сатана! Ведь это надо доказать. Опустив руки, Фома удивлённо спросил:

— Но разве не ты предал учителя? Я сам видел, как ты привёл воинов и указал им на Иисуса. Если это не предательство, то что же тогда предательство?

— Другое, другое, — торопливо сказал Иуда. — Слушай, вас здесь много. Нужно, чтобы вы все собрались вместе и громко потребовали: отдайте Иисуса, он наш. Вам не откажут, не посмеют. Они сами поймут...

— Что ты! Что ты, — решительно отмахнулся руками Фома, — разве ты не видел, сколько здесь вооружённых солдат и служителей храма. И потом суда ещё не было, и мы не должны препятствовать суду. Разве он не поймёт, что Иисус невинен, и не повелит немедля освободить его.

— Ты тоже так думаешь? — задумчиво спросил Иуда. — Фома, Фома, но если это правда? Что же тогда? Кто прав? Кто обманул Иуду?

— Мы сегодня говорили всю ночь и решили: не может суд осудить невинного. Если же он осудит...

— Ну! — торопил Искарот.

— ...то это не суд. И им же придётся худо, когда надо будет дать ответ перед настоящим Судиею.

— Перед настоящим! Есть ещё настоящий! — засмеялся Иуда.

— И все наши прокляли тебя, но так как ты говоришь, что не ты предатель, то, я думаю, тебя следовало бы судить...

Недослушав, Иуда круто повернул и быстро устремился вниз по улочке, вслед за удаляющейся толпой. Но вскоре замедлил шаги и пошёл неторопливо, подумав, что когда идёт много народу, то всегда идут они медленно, и одиноко идущий непременно нагонит их.

Когда Пилат вывел Иисуса из своего дворца и поставил его перед народом. Иуда, прижатый к колонне тяжёлыми спинами солдат, яростно ворочающий головою, чтобы рассмотреть что-нибудь между двух блистающих шлемов, вдруг ясно почувствовал, что теперь все кончено. Под солнцем, высоко над головами толпы, он увидел Иисуса, окровавленного, бледного, в терновом венце, остриями своими вонзавшемся в лоб, у края возвышения стоял он, видимый весь с головы до маленьких загорелых ног, и так спокойно ждал, был так ясен в своей непорочности и чистоте, что только слепой, который не видит самого солнца, не увидел бы этого, только безумец не понял бы. И молчал народ — так тихо было, что слышал Иуда, как дышит стоящий впереди солдат и при каждом дыхании где-то поскрипывает ремень на его теле.

«Так. Все кончено. Сейчас они поймут», — подумал Иуда, и вдруг что-то странное, похожее на ослепительную радость падения с бесконечно высокой горы в голубую сияющую бездну, остановило его сердце.

Презрительно оттянув губы вниз, к круглому бритому подбородку, Пилат бросает в толпу сухие, короткие слова — так кости бросают в стаю голодных собак, думая обмануть их жажду свежей крови и живого трепещущего мяса:

— Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашёл человека этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его...

Иуда закрыл глаза. Ждёт. И весь народ закричал, завопил, завыл на тысячу звериных и человеческих голосов:

— Смерть ему! Распни его! Распни его!

И вот, точно глумясь над самим собою, точно в одном миге желая испытать всю беспредельность падения, безумия и позора, тот же народ кричит, вопит, требует тысячью звериных и человеческих голосов:

— Варраву отпусти нам! Его распни! Распни!

Но ведь ещё римлянин не сказал своего решающего слова: по его бритому надменному лицу пробегают судороги отвращения и гнева. Он понимает, он понял! Вот он говорит тихо служителям своим, но голос его не слышен в рёве толпы. Что он говорит? Велит им взять мечи и ударить на этих безумцев?

— Принесите воды.

Воды? Какой воды? Зачем?

Вот он моет руки — зачем-то моет свои белые, чистые, украшенные перстнями руки — и злобно кричит, поднимая их, удивлённо молчащему народу:

— Неповинен я в крови праведника этого. Смотрите вы!

Ещё скатывается с пальцев вода на мраморные плиты, когда что-то мягко расплывается у ног Пилата, и горячие, острые губы целуют его бессильно сопротивляющуюся руку — присасываются к ней, как щупальца, тянут кровь, почти кусают. С отвращением и страхом он взглядывает вниз — видит большое извивающееся тело, дико двоящееся лицо и два огромные глаза, так странно непохожие друг на друга, как будто не одно существо, а множество их цепляется за его ноги и руки. И слышит ядовитый шёпот, прерывистый, горячий:

— Ты мудрый!.. Ты благородный!.. Ты мудрый, мудрый!.. И такой поистине сатанинскую радостью

пылает это дикое лицо, что с криком ногою отталкивает его Пилат, и Иуда падает навзничь. И, лёжа на каменных плитах, похожий на опрокинутого дьявола, он все ещё тянется рукою к уходящему Пилату и кричит, как страстно влюблённый:

— Ты мудрый! Ты мудрый! Ты благородный!

Затем проворно поднимается и бежит, провожаемый хохотом солдат. Ведь ещё не все кончено. Когда они увидят крест, когда они увидят гвозди, они могут понять, и тогда... Что тогда? Видит мельком оторопелого бледного Фому и зачем-то, успокоительно кивнув ему головою, нагоняет Иисуса, ведомого на казнь. Идти тяжело, мелкие камни скатываются под ногами, и вдруг Иуда чувствует, что он устал. Весь уходит в заботу о том, чтобы лучше ставить ногу, тускло смотрит по сторонам и видит плачущую Марию Магдалину, видит множество плачущих женщин — распущенные волосы, красные глаза, искривлённые уста, — всю безмерную печаль нежной женской души, отданной на поругание. Оживляется внезапно и, улучив мгновение, подбегает к Иисусу:

— Я с тобою, — шепчет он торопливо.

Солдаты отгоняют его ударами бичей, и, извиваясь, чтобы ускользнуть от ударов, показывая солдатам оскаленные зубы, он поясняет торопливо:

— Я с тобою. Туда. Ты понимаешь, туда!

Вытирает с лица кровь и грозит кулаком солдату, который оборачивается, смеясь, и показывает на него другим. Ищет зачем-то Фому — но ни его, ни одного из учеников нет в толпе провожающих. Снова чувствует усталость и тяжело передвигает ноги, внимательно разглядывая острые, белые, рассыпающиеся камешки.

...Когда был поднят молот, чтобы пригвоздить к дереву левую руку Иисуса, Иуда закрыл глаза и целую вечность не дышал, не видел, не жил, а только слушал. Но вот со скрежетом ударило железо о железо, и раз за разом тупые, короткие, низкие удары, — слышно, как входит острый гвоздь в мягкое дерево, раздвигая частицы его...

Одна рука. Ещё не поздно.

Другая рука. Ещё не поздно.

Нога, другая нога — неужели все кончено? Нерешительно раскрывает глаза и видит, как поднимается, качаясь, крест и устанавливается в яме. Видит, как, напряжённо содрогаясь, вытягиваются мучительно руки Иисуса, расширяют раны — и внезапно уходит под ребра опавший живот. Тянутся, тянутся руки, становятся тонкие, белеют, вывёртываются в плечах, и раны под гвоздями краснеют, ползут — вот оборвутся они сейчас... Нет, остановилось. Все остановилось. Только ходят ребра, поднимаемые коротким, глубоким дыханием.

На самом темени земли вздымается крест — и на нем распятый Иисус. Осуществился ужас и мечты Искарриота, — он поднимается с колен, на которых стоял зачем-то, и холодно оглядывается кругом. Так смотрит суровый победитель, который уже решил в сердце своём предать все разрушению и смерти и в последний раз обводит взором чужой и богатый город, ещё живой и шумный, но уже призрачный под холодною рукою смерти. И вдруг так же ясно, как ужасную победу свою, видит Искарриот её зловещую шаткость. А вдруг они поймут? Ещё не поздно. Иисус ещё жив. Вон смотрит он зовущими, тоскующими глазами...

Что может удержать от разрыва тоненькую плёнку, застилающую глаза людей, такую тоненькую, что её как будто нет совсем? Вдруг — они поймут? Вдруг всю свою грозною массой мужчин, женщин и детей они двинутся вперёд, молча, без крика, сотрут солдат, зальют их по уши своею кровью, вырвут из земли проклятый крест и руками оставшихся в живых высоко над теменем земли поднимут свободного Иисуса! Осанна! Осанна!

Осанна? Нет, лучше Иуда ляжет на землю. Нет, лучше, лёжа на земле и ляская зубами, как собака, он будет высматривать и ждать, пока не поднимутся все те. Но что случилось с временем? То почти останавливается оно, так что хочется пихать его руками, бить ногами, кнутом, как ленивого осла, — то безумно мчится оно с какой-то горы и захватывает дыхание, и руки напрасно ищут опоры. Вон плачет Мария Магдалина. Вон плачет мать Иисуса. Пусть плачут. Разве значат сейчас что-нибудь её слезы, слезы всех матерей, всех женщин в мире!

— Что такое слезы? — спрашивает Иуда и бешено толкает неподвижное время, бьёт его кулаками, проклинает, как раба. Оно чужое и оттого так непослушно. О, если бы оно принадлежало Иуде, — но оно принадлежит всем этим плачущим, смеющимся, болтающим, как на базаре, оно принадлежит солнцу, оно принадлежит кресту и сердцу Иисуса, умирающему так медленно.

Какое подлое сердце у Иуды! Он держит его рукою, а оно кричит «Осанна!» так громко, что вот услышат все. Он прижимает его к земле, а оно кричит: «Осанна, осанна!» — как болтун, который на улице разбрасывает святые тайны... Молчи! Молчи!

Вдруг громкий, оборванный плач, глухие крики, поспешное движение к кресту. Что это? Поняли?



Нет, умирает Иисус. И это может быть? Да, Иисус умирает. Бледные руки неподвижны, но по лицу, по груди и ногам пробегают короткие судороги. И это может быть? Да, умирает. Дыхание реже. Остановилось... Нет, ещё вздох, ещё на земле Иисус. И ещё? Нет... Нет... Нет... Иисус умер.

Свершилось. Осанна! Осанна!

Осуществился ужас и мечты. Кто вырвет теперь победу из рук Искарриота? Свершилось. Пусть все народы, какие есть на земле, стекутся к Голгофе и возопиют миллионами своих глоток: «Осанна, Осанна!» — и моря крови и слез прольют к подножию её — они найдут только позорный крест и мёртвого Иисуса.

Спокойно и холодно Искарриот оглядывает умершего, останавливается на миг взором на щеке, которую ещё только вчера поцеловал он прощальным поцелуем, и медленно отходит. Теперь все время принадлежит ему, и идёт он неторопливо, теперь вся земля принадлежит ему, и ступает он твёрдо, как повелитель, как царь, как тот, кто беспредельно и радостно в этом мире одинок. Замечает мать Иисуса и говорит ей сурово:

— Ты плачешь, мать? Плачь, плачь, и долго ещё будут плакать с тобою все матери земли. Дотоле, пока не придём мы вместе с Иисусом и не разрушим смерть.

Что он — безумен или издевается, этот предатель? Но он серьёзен, и лицо его строго, и в безумной торопливости не бегают его глаза, как прежде. Вот останавливается он и с холодным вниманием осматривает новую, маленькую землю. Маленькая она стала, и всю её он чувствует под своими ногами, смотрит на маленькие горы, тихо краснеющие в последних лучах солнца, и горы чувствует под своими ногами, смотрит на небо, широко открывшее свой синий рот, смотрит на кругленькое солнце, безуспешно старающееся обжечь и ослепить, — и небо и солнце чувствует под своими ногами. Беспредельно и радостно одинокий, он гордо ощутил бессилие всех сил, действующих в мире, и все их бросил в пропасть.

И дальше идёт он спокойными и властными шагами. И не идёт время ни спереди, ни сзади, покорное, вместе с ним движется оно всею своей незримою громадой.

Свершилось.

## IX

Старым обманщиком, покашливая, льстиво улыбаясь, кланяясь бесконечно, явился перед синедрионом Иуда из Кариота — Предатель. Это было на другой день после убийства Иисуса, около полудня. Тут были все они, его судьи и убийцы: и престарелый Анна со своими сыновьями, тучными и отвратительными подобиями отца, и снедаемый честолюбием Каиафа, зять его, и все другие члены синедриона, укравшие имена свои у памяти людской — богатые и знатные саддукеи, гордые силою своею и знанием закона. Молча встретили они Предателя, и надменные лица их остались неподвижны: как будто не вошло ничего. И даже самый маленький из них и ничтожный, на которого другие не обращали внимания, поднимал кверху своё птичье лицо и смотрел так, будто не вошло ничего. Иуда кланялся, кланялся, кланялся, а они смотрели и молчали: как будто не человек вошёл, а только вползло нечистое насекомое, которого не видно. Но не такой был человек Иуда из Кариота, чтобы смутиться: они молчали, а он себе кланялся и думал, что если и до вечера придётся, то и до вечера он будет кланяться. Наконец нетерпеливый Каиафа спросил:

— Что надо тебе?

Иуда ещё раз поклонился и громко сказал:

— Это я, Иуда из Кариота, тот, что предал вам Иисуса Назаряя.

— Так что же? Ты получил своё. Ступай! — приказал Анна, но Иуда как будто не слышал приказания и продолжал кланяться. И, взглянув на него, Каиафа спросил Анну:

— Сколько ему дали?

— Тридцать серебряников.

Каиафа усмехнулся, усмехнулся и сам седой Анна, и по всем надменным лицам скользнула весёлая улыбка, а тот, у которого было птичье лицо, даже засмеялся. И, заметно бледнея, быстро подхватил Иуда:

— Так, так. Конечно, очень мало, но разве Иуда недоволен, разве Иуда кричит, что его ограбили? Он доволен. Разве не святому делу он послужил? Святому. Разве не самые мудрые люди слушают теперь Иуду и думают: он наш, Иуда из Кариота, он наш брат, наш друг. Иуда из Кариота, Предатель? Разве Анне не хочется стать на колени и поцеловать у Иуды руку? Но только Иуда не даст, он трус, он боится, что его укусят.

Каиафа сказал:

— Выгони этого пса. Что он лает?

— Ступай отсюда. Нам нет времени слушать твою болтовню, — равнодушно сказал Анна.

Иуда выпрямился и закрыл глаза. То притворство, которое так легко носил он всю свою жизнь, вдруг стало невыносимым бременем, и одним движением ресниц он сбросил его. И когда снова взглянул на Анну, то был взор его прост, и прям, и страшен в своей голой правдивости. Но и на это не обратили внимания.

— Ты хочешь, чтобы тебя выгнали палками? — крикнул Каиафа.

Задыхаясь под тяжестью страшных слов, которые он поднимал все выше и выше, чтобы бросить их оттуда на головы судей, Иуда хрипло спросил:

— А вы знаете... вы знаете... кто был он — тот, которого вчера вы осудили и распяли?

— Знаем. Ступай!

Одним словом он прорвёт сейчас ту тонкую плёнку, что застилает их глаза, — и вся земля дрогнет под тяжестью беспощадной истины! У них была душа — они лишатся её, у них была жизнь — они потеряют жизнь, у них был свет перед очами — вечная тьма и ужас покроют их. Осанна! Осанна!

И вот они, эти страшные слова, раздирающие горло:

— Он не был обманщик. Он был невинен и чист. Вы слышите? Иуда обманул вас. Он предал вам невинного. Ждёт. И слышит равнодушный, старческий голос Анны:

— И это все, что ты хотел сказать?

— Кажется, вы не поняли меня, — говорит Иуда с достоинством, бледнея. — Иуда обманул вас. Он был невинен. Вы убили невинного.

Тот, у которого птичье лицо, улыбается, но Анна равнодушен, Анна скучен, Анна зевает. И зевает вслед за ним Каиафа и говорит утомлённо:

— Что же мне говорили об уме Иуды из Кариота? Это просто дурак, очень скучный дурак.

— Что! — кричит Иуда, весь наливаясь тёмным бешенством. — А кто вы, умные! Иуда обманул вас — вы слышите! Не его он предал, а вас, мудрых, вас, сильных, предал он позорной смерти, которая не кончится вовеки. Тридцать Серебреников! Так, так. Но ведь это цена вашей крови, грязной, как те помои, что выливают женщины за ворота домов своих. Ах, Анна, старый, седой, глупый Анна, наглотавший закона, — зачем ты не дал одним серебренником, одним оболем больше! Ведь в этой цене пойдёшь ты вовеки!

— Вон! — закричал побагровевший Каиафа. Но Анна остановил его движением руки и все так же равнодушно спросил Иуду:

— Теперь все?

— Ведь если я пойду в пустыню и крикну зверям: звери, вы слышали, во сколько оценили люди своего Иисуса, что сделают звери? Они вылезут из логовищ, они завоюют от гнева, они забудут свой страх перед человеком и все придут сюда, чтобы сожрать вас! Если я скажу морю: море, ты знаешь, во сколько люди оценили своего Иисуса? Если я скажу горам: горы, вы знаете, во сколько люди оценили Иисуса? И море и горы оставят свои места, определённые извека, и придут сюда, и упадут на головы ваши!

— Не хочет ли Иуда стать пророком? Он говорит так громко! — насмешливо заметил тот, у которого было птичье лицо, и заискивающе взглянул на Каиафу.

— Сегодня я видел бледное солнце. Оно смотрело с ужасом на землю и говорило: где же человек? Сегодня я видел скорпиона. Он сидел на камне и смеялся и говорил:

где же человек? Я подошёл близко и в глаза ему посмотрел. И он смеялся и говорил: где же человек, скажите мне, я не вижу! Или ослеп Иуда, бедный Иуда из Кариота!

И Искарriot громко заплакал. Был он в эти минуты похож на безумного, и Каиафа, отвернувшись, презрительно махнул рукою. Анна же подумал немного и сказал:

— Я вижу, Иуда, что ты действительно получил мало, и это волнует тебя. Вот ещё деньги, возьми и отдай своим детям.

Он бросил что-то, звякнувшее резко. И ещё не замолк этот звук, как другой, похожий, странно продолжал его: это Иуда горстью бросал серебренники и оболочки в лица первосвященника и судей, возвращая плату за Иисуса. Косым дождём криво летели монеты, попадая в лица, на стол, раскатываясь по полу. Некоторые из судей закрывались руками, ладонями наружу, другие, вскочив с мест, кричали и бранились. Иуда, стараясь попасть в Анну, бросил последнюю монету, за которою долго шарил в мешке его дрожащая рука, плюнул гневно и вышел.

— Так, так! — бормотал он, быстро проходя по улочкам и пугая детей. — Ты, кажется, плакал. Иуда? Разве действительно прав Каиафа, говоря, что глуп Иуда из Кариота? Кто плачет в день великой мести, тот недостойн её — знаешь ли ты это. Иуда? Не давай глазам твоим обманывать тебя, не давай сердцу твоему лгать, не заливай огня слезами, Иуда из Кариота!

Ученики Иисуса сидели в грустном молчании и прислушивались к тому, что делается снаружи дома. Ещё была опасность, что месть врагов Иисуса не ограничится им одним, и все ждали вторжения стражи и, быть может, новых казней. Возле Иоанна, которому, как любимому ученику Иисуса, была особенно тяжела смерть его, сидели Мария Магдалина и Матфей и вполголоса утешали его. Мария, у которой лицо распухло от слез, тихо гладила рукою его пышные волнистые волосы, Матфей же наставительно говорил словами Соломона:

— Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.

В это мгновение, громко хлопнув дверью, вошёл Иуда Искарriot. Все испуганно вскочили и вначале даже не поняли, кто это, а когда разглядели ненавистное лицо и рыжую бугроватую голову, то подняли крик.

Пётр же поднял обе руки и закричал:

— Уходи отсюда! Предатель! Уходи, иначе я убью тебя! Но всмотрелись лучше в лицо и глаза Предателя и смолкли, испуганно шепча:

— Оставьте! Оставьте его! В него вселился сатана. Выждав тишину, Иуда громко воскликнул:

— Радуйтесь, глаза Иуды из Кариота! Холодных убийц вы видели сейчас — и вот уже трусливые предатели пред вами! Где Иисус? Я вас спрашиваю: где Иисус?

Было что-то властное в хриплом голосе Искарриота, и покорно ответил Фома:

— Ты же сам знаешь. Иуда, что учителя нашего вчера вечером распяли.

— Как же вы позволили это? Где же была ваша любовь? Ты, любимый ученик, ты — камень, где были вы, когда на дереве распинали вашего друга?

— Что же могли мы сделать, посуди сам, — развёл руками Фома.

— Ты это спрашиваешь, Фома? Так, так! — склонил голову набок Иуда из Кариота и вдруг гневно обрушился: — Кто любит, тот не спрашивает, что делать! Он идёт и делает все. Он плачет, он кусается, он душит врага и кости ломает у него! Кто любит! Когда твой сын утопает, разве ты идёшь в город и спрашиваешь прохожих: «Что мне делать? мой сын утопает!» — а не бросаешься сам в воду и не тонешь рядом с сыном. Кто любит!

Пётр хмуро ответил на неистовую речь Иуды:

— Я обнажил меч, но он сам сказал — не надо.

— Не надо? И ты послушался? — засмеялся Искарриот. — Пётр, Пётр, разве можно его слушать! Разве понимает он что-нибудь в людях, в борьбе!

— Кто не повинуется ему, тот идёт в геенну огненную.

— Отчего же ты не пошёл? Отчего ты не пошёл, Пётр? Геенна огненная — что такое геенна? Ну и пусть бы ты пошёл — зачем тебе душа, если ты не смеешь бросить её в огонь, когда захочешь!

— Молчи! — крикнул Иоанн, поднимаясь. — Он сам хотел этой жертвы. И жертва его прекрасна!

— Разве есть прекрасная жертва, что ты говоришь, любимый ученик? Где жертва, там и палач, и предатели там! Жертва — это страдания для одного и позор для всех. Предатели, предатели, что сделали вы с землёю? Теперь смотрят на неё сверху и снизу и хохочут и кричат: посмотрите на эту землю, на ней распяли Иисуса! И плюют на неё — как я! Иуда гневно плюнул на землю.

— Он весь грех людей взял на себя. Его жертва прекрасна! — настаивал Иоанн.

— Нет, вы на себя взяли весь грех. Любимый ученик! Разве не от тебя начнётся род предателей, порода малодушных и лжецов? Слепцы, что сделали вы с землёю? Вы погубить её захотели, вы скоро будете целовать крест, на котором вы распяли Иисуса! Так, так — целовать крест обещает вам Иуда!

— Иуда, не оскорбляй! — прорычал Пётр, багровея. — Как могли бы мы убить всех врагов его? Их так много!

— И ты, Пётр! — с гневом воскликнул Иоанн. — Разве ты не видишь, что в него вселился сатана? Отойди от нас, искуситель. Ты полон лжи! Учитель не велел убивать.

— Но разве он запретил вам и умирать? Почему же вы живы, когда он мёртв? Почему ваши ноги ходят, ваш язык болтает дрянное, ваши глаза моргают, когда он мёртв, недвижим, безгласен? Как смеют быть красными твои щеки, Иоанн, когда его бледны? Как смеешь ты кричать, Пётр, когда он молчит? Что делать, спрашиваете вы Иуду? И отвечает вам Иуда, прекрасный, смелый Иуда из Кариота:

умереть. Вы должны были пасть на дороге, за мечи, за руки хватать солдат. Утопить их в море своей крови — умереть, умереть! Пусть бы сам Отец его закричал от ужаса, когда все вы вошли бы туда!

Иуда замолчал, подняв руку, и вдруг заметил на столе остатки трапезы. И с странным изумлением, любопытно, как будто первый раз в жизни увидел пищу, оглядел её и медленно спросил:

— Что это? Вы ели? Быть может, вы спали также?

— Я спал, — кротко опустив голову, ответил Пётр, уже чувствуя в Иуде кого-то, кто может приказывать, — Спал и ел.

Фома решительно и твёрдо сказал:

— Это все неверно. Иуда. Подумай: если бы все умерли, то кто бы рассказал об Иисусе? Кто бы понёс людям его учение, если бы умерли все: и Пётр, и Иоанн, и я?

— А что такое сама правда в устах предателей? Разве не ложью становится она? Фома, Фома, разве ты не понимаешь, что только сторож ты теперь у гроба мёртвой правды. Засыпает сторож, и приходит вор, и уносит правду с собою, — скажи, где правда? Будь же ты проклят, Фома! Бесплоден и нищ ты будешь вовеки, и вы с ним, проклятые!

— Будь сам проклят, сатана! — крикнул Иоанн, и повторили его возглас Иаков, и Матфей, и все другие ученики. Только Пётр молчал.

— Я иду к нему! — сказал Иуда, простирая вверх властную руку. — Кто за Искарриотом к Иисусу?

— Я! Я с тобою! — крикнул Пётр, вставая. Но Иоанн и другие с ужасом остановили его, говоря:

— Безумный! Ты забыл, что он предал учителя в руки врагов!

Пётр ударил себя кулаком в грудь и горько заплакал:

— Куда же мне идти? Господи! Куда же мне идти!

Иуда давно уже, во время своих одиноких прогулок, наметил то место, где он убьёт себя после смерти Иисуса. Это было на горе, высоко над Иерусалимом, и стояло там только одно дерево, кривое, измученное ветром, рвущим его со всех сторон, полусохшее. Одну из своих обломанных кривых ветвей оно протянуло к Иерусалиму, как бы благословляя его или чем-то угрожая, и её избрал Иуда для того, чтобы сделать на ней петлю. Но идти до дерева было далеко и трудно, и очень устал Иуда из Кариота. Все те же маленькие острые камешки рассыпались у него под ногами и точно тянули его назад, а гора была высока, обвеена ветром, угрюма и зла. И уже несколько раз присаживался Иуда отдохнуть, и дышал тяжело, а сзади, сквозь расселины камней, холодом дышала в его спину гора.

— Ты ещё, проклятая! — говорил Иуда презрительно и дышал тяжело, покачивая тяжёлой головою, в которой все мысли теперь окаменели. Потом вдруг поднимал её, широко раскрывал застывшие глаза и гневно бормотал:

— Нет, они слишком плохи для Иуды. Ты слышишь, Иисус? Теперь ты мне поверишь? Я иду к тебе. Встреть меня ласково, я устал. Я очень устал. Потом мы вместе с тобою, обнявшись, как братья, вернёмся на землю. Хорошо?

Опять качал каменеющей головою и опять широко раскрывал глаза, бормоча:

— Но, может быть, ты и там будешь сердиться на Иуду из Кариота? И не поверишь? И в ад меня пошлешь? Ну что же! Я пойду в ад! И на огне твоего ада я буду ковать железо и разрушу твоё небо. Хорошо? Тогда ты поверишь мне? Тогда пойдёшь со мною назад на землю, Иисус?

Наконец добрался Иуда до вершины и до кривого дерева, и тут стал мучить его ветер. Но когда Иуда выбралил его, то начал петь мягко и тихо, — улетал куда-то ветер и прощался.

— Хорошо, хорошо! А они собаки! — ответил ему Иуда, делая петлю. И так как верёвка могла обмануть его и оборваться, то повесил он её над обрывом, — если оборвётся, то все равно на камнях найдёт он смерть. И перед тем как оттолкнуться ногою от края и повиснуть, Иуда из Кариота ещё раз заботливо предупредил Иисуса:

— Так встреть же меня ласково, я очень устал, Иисус.

И прыгнул. Верёвка натянулась, но выдержала: шея Иуды стала тоненькая, а руки и ноги сложились и обвисли, как мокрые. Умер. Так в два дня, один за другим, оставили землю Иисус Назарей и Иуда из Кариота, Предатель.

Всю ночь, как какой-то чудовищный плод, качался Иуда над Иерусалимом, и ветер поворачивал его то к городу лицом, то к пустыне — точно и городу и пустыне хотел он показать Иуду. Но, куда бы ни поворачивалось обезображенное смертью лицо, красные глаза, налитые кровью и теперь одинаковые, как братья, неотступно смотрели в небо. А наутро кто-то зоркий увидел над городом висящего Иуду и закричал в испуге. Пришли люди, и сняли его, и, узнав, кто это, бросили его в глухой овраг, куда бросали дохлых лошадей, кошек и другую падаль.

И в тот вечер уже все верующие узнали о страшной смерти Предателя, а на другой день узнал о ней весь Иерусалим. Узнала о ней каменистая Иудея, и зелёная Галилея узнала о ней, и до одного моря и до другого, которое ещё дальше, долетела весть о смерти Предателя. Ни быстрее, ни тише, но вместе с временем шла она, и как нет конца у времени, так не будет конца рассказам о предательстве Иуды и страшной смерти его. И все — добрые и злые — одинаково предадут проклятию позорную память его, и у всех народов, какие были, какие есть, останется он одиноким в жестокой участи своей — Иуда из Кариота, Предатель.



All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.

**«Strelbytskyy  
Multimedia Publishing»**

Saksaganskogo str., 58, office 8  
Kiev, Ukraine, 01033

tel. +38044 331-06-20  
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

Все права защищены. Эта книга или любая ее часть не может быть воспроизведена или использована любым другим способом без письменного разрешения издателя исключая использование цитат из книг или иного способа предусмотренного законодательством.

**«Мультимедийное  
издательство Стрельбицкого»**

ул. Саксаганского, 58, оф.8  
Киев, Украина, 01033

тел. +38044 331-06-20  
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Электронная книга издана  
«Мультимедийным издательством Стрельбицкого»**

С нашими изданиями электронных книг и аудиокниг вы можете познакомиться на сайтах:  
**[www.strelbooks.com](http://www.strelbooks.com)** **[www.audio-book.com.ua](http://www.audio-book.com.ua)**

Желаем приятного чтения!  
Свои замечания и предложения направляйте на e-mail: [dmytro.strelb@gmail.com](mailto:dmytro.strelb@gmail.com)

**Эта книга охраняется авторским правом  
Copyright © 2015  
«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»**